

Три возраста Окини-сан. Том 2

Автор:

Валентин Пикуль

Три возраста Окини-сан. Том 2

Валентин Саввич Пикуль

Русско-японская война – Дальний Восток #2

Центральная сюжетная линия сентиментального романа «Три возраста Окини-сан» – драматическая судьба Владимира Коковцева, прошедшего путь от мичмана до адмирала российского флота. В. С. Пикуль проводит своего героя через события, во многом определившие ход мировой истории в XX веке – Русско-японскую и Первую мировую войны, Февральскую и Октябрьскую революции. Показана сложная политическая обстановка на Дальнем Востоке, где столкнулись интересы России, Англии и Японии. Интерес к истории русского Дальнего Востока у В.С. Пикуля пересекался с увлечением Японией, стремлением познать ее искусство, природу и людей. Концовка романа во многом навеяна старинной японской гравюрой, на которой изображены мужчина и женщина, бросающиеся в море, чтобы прервать так неудачно сложившуюся жизнь.

Валентин Пикуль

Три возраста Окини-сан. Том 2

© Пикуль В.С., наследники, 2011

© ООО «Издательство «Вече», 2011

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

Возраст второй. Расстрел аргонатов

Эскадра приближалась к Цусиме в составе тридцати восьми вымпелов, из которых только тридцать вымпелов имели боевое значение (остальные: транспорта, буксиры, плавучая мастерская, два госпиталя). «Искровой телеграф», как тогда называли радиоаппараты, принимал обрывки депеш на японском языке. Студенты-востоковеды, взятые в поход из Лазаревского института, не могли разгадать их смысла. «Урал», обладавший самой мощной радиостанцией, запрашивал разрешения адмирала – глушить работу радиостанций противника помехами. Но Рожественский в этом случае оказался грамотнее других, строго запретив эскадре вмешиваться в близкие переговоры японских кораблей.

– Если мы это сделаем, – разумно доказывал он, – японцы сразу же засекут нас, понимая, что мы находимся рядом...

На мостиках кораблей лежали обычные мешки с обычными кирпичами – на случай срочного затопления в них сигнальных книг и секретной документации. Казначей сволакивали ближе к люкам железные сундуки с золотом и деньгами – тоже для затопления. Все эти необходимые церемонии проделывались без суматохи, никого не пугая... Война есть война!

На мостике тревожно спал адмирал Рожественский; тяжелые веки его глаз иногда поднимались, глаза оглядывали горизонт, он снова задремывал, склоняя на грудь белую голову.

– Орите потише, – просили офицеры сигнальщиков.

Эйлер постучал в каюту Коковцева:

- Боюсь, наш «Суворов» до Владивостока не дотянет.

Коковцев заметил его обожженные руки – в бинтах:

- Что случилось, Ленечка?

- Эти проклятые михели в Камранге и Ван-Фонге насовали нам в бункера самую отличную дрянь... Сейчас началось самовозгорание угля в бункерах. Под нами уже бушует пламя.

- А ты заливаешь?

- Да. Но горевший уголь теряет тридцать процентов качеств. Потому и говорю, что нам его не хватит до Владивостока. А перерасход страшный – до тысячи тонн в сутки.

- Ты никому не болтай об этом, Ленечка.

- Я не скажу. Но ты, флаг-капитан, знай.

- Хорошо. Лучше бы мне и не знать...

На рассвете с «Авроры» заметили белый стремительный корабль, сказочно пролетающий через хмурую мглу; его привлек яркий свет, исходивший от госпитальных судов, и он не был задержан кораблями эскадры для проверки.

- Очевидно, пассажирский, – гадали на «Суворове».

Македонский шепотом подсказал Игнациусу:

- Это был их крейсер «Синано-Мару»... Всё!

Да, теперь всё. Они открыты. Они разоблачены.

Над «Суворовым» взвились флаги: ГОТОВНОСТЬ К БОЮ.

– А что, эти плавающие дворцы медицины? – спросил адмирал раздраженно. – Или для них закон не писан?

Рожественский не запретил яркое освещение «Костромы» и «Орла», не велел госпиталям идти в отдалении. Стучащие аппараты «Слаби-Арко» вытягивали из себя длинные бумажные ленты, на которых молоточек выбивал одно и то же сочетание: «ре-ре-ре-ре...» – очевидно, Того давал позывные какого-то своего корабля.

Радиотелеграфисты ругались:

– Какой уж час он, паразит, одно и то же колотит...

Коковцев спустился в кают-компанию броненосца, там, на диванах, даже не скинув обуви, в походных тужурках подремывали артиллерийские офицеры – Богданов и мичман Кульнев.

– Господа, чего вы тут кейфуете?

– Я заведу подачей из погребов, – объяснил мичман.

– А я с ближних плутонгов, – ответил Богданов, лейтенант. – Если что брякнет, мой пост рядышком. Не волнуйтесь.

Коковцев и не думал волноваться. Он-то знал, какую скорость может развить человек на трапах и в люках, когда его призывают на боевой пост «колокола громкого боя».

– Тогда и я прилягу, господа, вместе с вами...

За бортом тихо шелестела вода океана.

Неожиданно для себя Коковцев очень крепко уснул и был пробужден радостным перезвоном бокалов. Он открыл глаза и сел на диване. Кают-компания была переполнена офицерами разных возрастов и различных рангов, вестовые с азартом открывали шампанское.

– Что празднуете, господа? – спросил Коковцев.

– Японский крейсер. По правому траверзу. Видите?

Низко прижатая к воде тень (по-морскому «зализанная»):

– Тогда налейте и мне, господа!

– Эй, чистяки! Бокал господину флаг-капитану...

Старший офицер Македонский чокнулся с Коковцевым:

– Кажется, вровень с нами шпарит «Идзумо». Врезать бы ему хорошего леща под винты, чтобы отлип от славян. А то ведь он все уши прозвонил Того своими сигналами...

Серенький рассвет не спеша разгорался над океаном.

– А где мы сейчас идем? – зябко поежился Коковцев.

– Идем к Цусиме... прямо через воронку! Буль-буль...

Откуда столько веселья, почему так радостны лица?

В дверях кают-компания появился Игнациус, укладывая в портсигар три гаванские сигары, при этом он мрачно сказал:

– Думаю, что до конца жизни мне хватит...

Шампанское разливали чересчур щедро, брызжущее искрами вино беззаботно проливалось на ковры, на скатерть.

– Ну, с богом! Сейчас начнется.

– Дождались... наконец-то! – радовались мичмана.

– Господа, за прекрасных женщин, что ждут нас.

Македонский призывал молодежь:

– Будем же свято помнить, что славный Андреевский флаг не раз погибал в пучине, но еще никогда не был опозорен!

Забежав в каюту, Коковцев сдернул с вешалки тужурку, глянул в иллюминатор – да, сомнений не было, это «Идзумо». Память точно подсказала все данные: японский крейсер нес на себе восемь восьмидюймовых, двенадцать шестидюймовых орудий, а его британские машины могли развить двадцать с половиной узлов.

– Недурно для тех, кто в этом деле что-либо кумекает. – Сказав так, Коковцев бодро взбежал на мостик. – Да не листайте таблицы – это «Идзумо»... Его надо накрыть. Накрыть немедленно... Полным залпом, иначе...

В этот момент обтекаемый силуэт японского крейсера, обрамленный белым буруном, показался ему даже красивым. Пользуясь выигрышем в скорости, «Идзумо» то легко опережал русскую эскадру, то резво отбегал назад, словно рысак, гарцующий в манеже. На «Суворове» пробили барабаны музыкантов.

– На молитву – пошел все наверх! Ходи веселей до церкви...

– Да отгоните же «Идзумо», – призывали с мостиков.

Кормовая башня «Суворова» вперилась в наглеца жерлами пушек, и тогда «Идзумо» поспешно вильнул в сторону. «Ослябя» высоко-высоко нес флаг адмирала Фелькерзама, и Коковцеву вдруг стало очень нехорошо от сознания, что его сын, его любимый первенец плывет в битву под флагом... покойника!

В отдалении, зыбко и расплывчато, уже возникали силуэты еще шести японских крейсеров – таких же «зализанных».

Рожественский неторопливо откинул с колен шерстяной плед, выбрался из удобного лонгшеза. Сказал:

– Это пока разведка. Времени у нас достаточно... Кстати, арестованным и осужденным можно дать для боя свободу!

Внешне на эскадре ничего не изменилось, и лишь слабое передвижение башен и дальномеров указывало на то, что корабли не вымерли. Но стоит заглянуть в тесноту отсеков, как слух наполнится шумами моторов и шипением гидравлики, звонками телефонов, окриками через амбушюры переговорных труб, здесь все в движении, а мускулы людей иногда перегоняют скорости механизмов, воют элеваторы подачи снарядов, по изгибам магистралей, опутывающих внутри корабль, словно вены и артерии организм человека, помпы перегоняют воду, в них быстро пульсируют технические масла и глицерины, шумно ревет мощная вентиляция, алчно засасывая в отсеки лавины свежего воздуха, а палубные раструбы тут же выбрасывают в атмосферу массы воздуха отработанного, уже испорченного...

Вот это живое теплое существо и называется кораблем!

Где-то во мгле, прямо по курсу, едва угадывался остров Цусима; зыбь шла от норда – навстречу кораблям, сумрачный горизонт визуально «прощупывался» до семи миль. Японские крейсера держались правого траверза, подробно информируя Того по «Телефункену» обо всех эволюциях русской эскадры. Рождественский выглядел спокойным, как были спокойны и его экипажи. Около одиннадцати часов дня флагман распорядился:

– Аллярам бить рано! Команды имеют время обедать. Однако, – обратился он к Коковцеву, – в газетах пишут, что генералы прячутся в блиндажах, отчего они более решительны в бою; адмиралы же обязаны погибать заодно с матросами, и потому они боятся рисковать своей жизнью...

Коковцев согласился с его превосходительством!

– Генералы посылают войска вперед, адмиралы же ведут за собой эскадры... Разница, конечно, существенная! Но сейчас перестала существовать и разница между офицером и матросом: все стали равны перед богом.

Безмолвный поединок с крейсерами затянулся. Тут не выдержали нервы комендора с броненосца «Орел» – он ударил по «Кассаге» снарядом. Орудийная прислуга других кораблей восприняла этот нечаянный выстрел за сигнал

флагмана, и вмиг заработала артиллерия всей эскадры, опаживая ее борта ярким пламенем залпов. Рожественский поднял над «Суворовым» соцветие флагов: ДАРОМ СНАРЯДОВ НЕ КИДАТЬ. Японские крейсера исполнили поворот «все вдруг», поразив окраскою, позволявшей им быстро сливаться с мутью океанского горизонта. Рожественский указал:

– Курс – NO 23°, направление – Владивосток...

Не покидая постов, возле механизмов и пушек, матросы наспех хлебали из мисок, зажатых между колен, опостылевшую баланду. Офицеры срывались по трапам в буфет, чтобы перекусить до боя, и снова разбегались по местам. Замелькали балахоны врачей и санитаров, в корабельных лазаретах противно режуще звенела их никелированная, отточенная техника. Флагманский иеромонах Палладий обходил батареи броненосца, окропляя с метелочки фугасы, снятые с лотков электрических элеваторов. В коридоре между каютами Коковцев торопливо разминулся с Эйлером.

– Трюмно-пожарный дивизион в порядке?

– Да. Иду управляться. А ты, Вова?

– Мое дело проще – быть у адмирала на побегушках...

Эскадра уже миновала узость Корейского пролива, выстроясь в две кильватерные колонны, сбоку скользили крейсера и миноносцы, строй замыкали госпитальные суда – с женщинами и врачами. Поодаль из тонких «карандашей» труб отчаянно дымила плавучая мастерская «Камчатка», половину экипажа которой составляли питерские рабочие – добровольцы!

Старший офицер Македонский поторапливал людей:

– По местам, по местам! Того на подходе...

Желтое знамя Того реяло над броненосцем «Миказа». Коковцев поднялся в боевую рубку; здесь было не повернуться от множества офицеров и кондукторов, застывших возле приборов управления и расчетов стрельбы. Очень быстро наплывали с норда дымы броненосных сил Того. Клапье де Колонг

докладывал о них так, словно читал раскрытую книгу:

- «Сикисима», «Асахи», «Фудзи», «Ниссин» и...

- Хватит! - велел ему флагман. - Здесь все!

Коковцев с особой ненавистью следил за крейсером «Идзумо», и эту ненависть разделяли сигнальщики на мостике:

- С утра пристал словно банный лист и не отлипнет... Во, гадье какое! Всыпать бы ему соли под кормушку...

Слева по борту двигался «Ослябя», а там, укрывшись под накатом башенной брони, плыл в сражение его сын, его кровь, его мозг, его характер... «Господи, спаси и помилуй Георгия!»

Стрелки машинных тахометров показывали шестьдесят восемь оборотов.

- Тринадцать сорок пять, - доложил время флагманский штурман Филипповский, у которого застарелый рак желудка, и потому эта битва любую его смерть превратит в лучезарную, почетную гибель во славу любезного Отечества...

С клацаньем упали на окна рубки броневые щитки, и Рожественский озирал противника через узкие смотровые щели:

- Я не понимаю Того, что он делает? И - зачем?

Взгляд на тахометры: 68 оборотов на винты давали лишь 9 узлов. Коковцев обратился к сигнальному кондуктору:

- А сколько выжимают японцы?

- Кажись, шашнадцать... сссволочи! Хороши бегать.

Форштевень «Миказы» крошил под собой высокий бурун. Того начинал охват головы русской эскадры - так гигантский питон-боа обнимает свою жертву за

глотку, почти ласково, и Коковцев ужаснулся от увиденной им картины: все это было ему до боли знакомо – японцы «ставили палочку над «Т»!

– Того делает crossing the «Т», – доложил он флагману.

Идеи адмирала Макарова предстали в наглядном действии: японцы прикладывали к русским русскую же тактику. Зиновий Петрович уже почуял угрозу ведущим броненосцам, «Суворову» и «Ослябе»: он удачно и вовремя склонил эскадру на два румба вправо. Этим флагман избежал охвата своей «головой», но при повороте противника неизбежно выкатились килями на параллельные курсы. Сигнальный кондуктор прикинул дистанцию:

– До япошек тридцать пять – сорок кабельтовых.

– Аллярм! – повелел Рожественский...

Башни передовых броненосцев извергли пристрелочные снаряды. Увлеченные началом поединка, флагманские специалисты не заметили, что японские крейсера, забежав в «хвост» русской эскадры, отсекали от нее и тут же взяли на бордаж госпитальные суда, плывущие под красным крестом милосердия. Отныне тонущие не будут иметь спасения, а раненые могут искать медицинской помощи только в корабельных лазаретах...

Коковцев расслышал над собой странный шорох и невнятное бормотание, какое он слышал однажды в Алжире, когда из пустыни летела саранча. Не понимая причины этих звуков, каперанг выставился наружу из боевой рубки и заметил движение японских снарядов: отлично видимые в полете, они кувыркались будто городошные палки.

А вдалеке японские крейсера пытались накрыть старый броненосец «Николай I», на котором держал флаг Небогатов, но стреляли плохо – на недолетах. Удивительно, что снаряды японцев – даже при ударе об воду! – давали высоченные всплески разрывов, украшенные шапками черного или желто-лимонного дыма. «В чем дело?..» Коковцева тешило сознание, что устройство русских снарядов разрывало их лишь после пробития брони, внутри японских кораблей. Так ли это?

– Но где же дым? – спросил он Богданова.

– Наши дыма не дают, оттого и пристрелка у нас – дерьмо!

Игнациус повелительно указал Коковцеву:

– Сейчас же закрой двери в рубку – башку снесет.

Коковцев пренебрег советом, наблюдая за «Ослябей»: броненосец, пропуская перед собой «Орла», не только уменьшил ход, но временно застопорил машины, развернувшись к неприятелю бортом. Этого было достаточно: шесть японских крейсеров оставили «Николая I» в покое, сразу вцепившись в «Ослябю» клыками своих главных калибров... Коковцев крикнул в рубку:

– «Ослябя» в пробоинах... пожар в центре!

– Задраишь ты двери или нет? – выругался Игнациус.

Коковцев захлопнул за собою пластину брони, чтобы не видеть «Ослябю». Посреди рубки лежал сигнальный кондуктор. У него не было половины лица, отсеченной осколком, залетевшим внутрь рубки через узкую боевую прорезь.

– Адмирал уже ранен, – хмуро сообщил Филипповский.

По затылку Рожественского стекала кровь, что-то противно-серое, выпучиваясь из черепа, облипало седые волосы, стекая за воротник тужурки, пачкая ее.

– Не стоит вашего внимания, – ответил он на вопросы о самочувствии. – «Единицу» не спускать, а курс иметь прежний...

Голос его звучал свежо. На мачте развевало бело-синюю «единицу», означавшую: бить по головным кораблям противника. Но японцы тоже стреляли по ведущим броненосцам Рожественского, и, прильнув к боевой щели, Коковцев видел, как быстро разгорается пожар над «Ослябей», а его первая башня, в которой замурован мичман Георгий Коковцев, высаживала по кораблям Того снаряд за снарядом... Было страшно!

– Боже праведный, что я скажу Ольге... что?

«Ослябя» умирал. Но умирал героической смертью. Как и знаменитый инок Ослябя, павший в битве на поле Куликовом.

Недостаток в скорости, пусть даже малый, постепенно превращал русские корабли в мишени для японских снарядов.

– Уже горим, – деловито произнес Игнациус и, словно, ему не хватало дыма сражения, воткнул в рот сигару...

Грохот от попаданий был такой, что рубка подпрыгивала на барбете, а сам броненосец напоминал железопрокатный цех в разгар рабочего дня. Рожественский указал Коковцеву пробиться через пылающие ростры на ют, дабы приготовить командный пост в корме, ибо носовой скоро будет разрушен. Что-то огненное врезалось внутрь рубки, из-под броневых «козырьков» брызнуло во все стороны тысячами искр, люди мгновенно схватились за грудь, давась кашлем от газов, заглатывая в свои легкие белые невесомые хлопья, похожие на клочки ваты. Рожественский, громко простонав, схватился за бок – покачнулся.

– Санитаров с носилками! – крикнул Игнациус.

– Нет, – выпрямился адмирал. – Не надо... пусть берут других. Они, да, пристрелялись, – сказал он о японцах. – Но мы ведь тоже не дурачки... Продолжать движение!

Поручни трапа, уже раскаленные, обожгли ладони Коковцеву. «Суворов» горел (а как горел, сохранилось свидетельство: «сгорали надстройки, шлюпки, настилы палуб... каменный уголь, сухари, тросы, резиновые шпанги, койки матросов и все другое...»). Флаг-капитал закрывался от жара руками.

– А это еще что? Неужели «Ослябя»?

«Ослябя» нес красно-синий флаг «како» – «Не могу управляться!». Но в ту же секунду пламя спалило фалы, сигнал бедствия исчез в пламени. Продолжая стрелять, броненосец выкатился прочь из кильватера, его борта были разворочены, огонь бушевал на уровне мачт, носом он оседал в море по самые клюзы. При таком дифференте «Ослябя» начал ложиться на левый борт, как бы в предсмертном изнеможении. Его трубы поливали холодные волны густейшим и черным дымом, а люди, подобно букашкам, сыпались в море... Все это Коковцев

наблюдал своими глазами, а в мозгу пульсировала одинокая мысль:

- Но что я скажу Ольге? что я скажу? что?..

Носовая башня мичмана Коковцева изрыгнула последний залп.

Этот залп – последний! – пришелся уже прямо в воду.

Правый винт броненосца еще вращался, с ненасытной яростью рассекая задымленный воздух. Из кормовых кингстонов «Осляби» вдруг выбило чудовищный водяной фонтан – так высоко, будто заработал петергофский «Самсон», извергающий воду из разодранной пасти льва! Это был конец... К месту гибели броненосца спешили «Бравый», «Буйный» и «Быстрый», за ними торопился буксир «Свирь»; они стали выхватывать людей из воды, реверсируя машинами то вперед, то назад, чтобы сбить пристрелку японцев по этому скоплению погибающих людей и кораблей, их спасающих... «Туда лучше не смотреть! Спасут ли они сына?»

Коковцев проник на ростры, где матросы разносили шланги, уже все иссеченные осколками, из рукавов выметывало тонкие струи воды, поливая мертвецов, разбросанных взрывами в самых причудливых позах. Здесь же умирал старший офицер Македонский, ползая среди воды и огня, а вместо ног за ним волочились грязные штанины, из которых торчали раздробленные кости голеней... Коковцев пробивался дальше – к юту!

- Никола Святой, но что я скажу Ольге?

Только сейчас он заметил, что «Суворов» выписывает ложную циркуляцию, – значит, рули заклинило, но следующие за ним корабли, не зная того, пристраивались в кильватер флагмана. Повторялась ситуация, подобная бою Порт-Артурской эскадры, когда был убит адмирал Витгефт... «Но жив ли еще Рождественский?» Из огня пожаров – знакомый голос:

- Не шалей, братцы! Давай воду... качай, разноси!

Это командовал трюмно-пожарным дивизионом Эйлер.

- Леня, - позвал его Коковцев, - ты жив?

- И ни царапинки... будто заговоренный!

Коковцева что-то шмякнуло в спину, и он присел:

- А я... уже. Получил. Да. Но меня в корму... в корму...

Это счастье, что не мог пробиться на кормовой пост сразу: там все уже было размозжено. Мертвые валялись неряшливой кучей, отброшенные взрывом к переборке поста. Поверх матросов почему-то лежала офицерская фуражка, словно ее туда специально положили. Чья-то рука в кожаной перчатке еще сжимала бинокль. Но броненосец - факел огня! - катился дальше на циркуляции, и было непонятно, как работают его машины...

- Люди-и-и... - звал кто-то. - Спа-а-аси-те-е-е...

Волна горячего воздуха приподняла Коковцева над пожаром и удивительно мягко распластала по палубе: это взорвало кормовую башню, ее броневая крыша рухнула на ют, свергая на своем пути все надстройки, расплющивая все живое... Перед Коковцевым возникла фигура матроса:

- Тебе помочь? - спросил он на «ты».

- Я сам, - начал подниматься Коковцев.

- «Сисой» - то горит, - сказал матрос, помогая ему.

- Все горим... Пить! Пить хочу.

- Да где взять? Лакай из шлюпок... эвона!

Из шлюпок броненосца, пробитых осколками, били упругие струи воды, которая заполняла их, чтобы они не горели. На переходах трапов матросы с матюгами раскидывали «траверзы» пылающих коек. Санитары волокли раненых, оравших от боли. Новые разрывы тотчас обрывали их крик, а санитаров сметало в море, как мусор. В этом хаосе Коковцева вежливо позвали из противоминной батареи,

предложив ему... чаю! Сверкая начищенными ботинками, при накрахмаленной манишке с галстуком-киской, украшенной жемчужиной, в башне сидел мичман Головнин, любезно протягивая флаг-капитану бутылку с чаем.

– Холодный, – сказал он. – Но это сейчас и лучше.

– Благодарю. А что у вас с башней?

– Заклинило... язву! Не повернуть... Сейчас допьем с ребятами чаек и грянем тушить пожары. А что еще-то делать?

Все это в грохоте, в треске. Ветер на повороте отнес дым в сторону, и Коковцев показал Головнину, что мачт на «Суворове» уже нет, но мичман не удивился, говоря:

– Все-таки по «Миказе» мы врезали разочек или два под самую печенку Того. «Идзумо» от «Осляби» тоже досталось.

Коковцев просил его посмотреть – что там, на спине, жалуясь, что штаны намокли от крови. Головнин откинул броняжку.

– Санитары! – позвал он. – Извините, господин флаг-капитан, что отказываю вам, но я с детства... брезгливый.

– Не надо, тогда не надо, – заторопился Коковцев, благодаря артиллериста за чай, и броня двери захлопнулась за ним, снова запечатывая прислугу пушек в железной коробке...

Эйлер не получил еще ни одного ранения.

– Здесь, на рострах, жарко. Но жить можно, – сказал он. – А в батарейных палубах сгорели заживо. Им некуда было выйти, переборки раскалены добела... Когда все это кончится, а?

– Скоро, – односложно ответил Коковцев...

За рострами, у входа в прачечную, пожилой кондуктор без руки целую рукой вставлял в рот себе дуло револьвера.

- Не глупи! - гаркнул ему Коковцев, подбегая.

Ответ кондуктора поразил его спокойствием.

- Ты што? - спросил он. - Или слепой? Рази не видишь сам, какая тут кутерьма пошла... Если б я был глупым, так, наверное, уже орал бы, что нас предали. Но я-то ведь не дурак и вижу, что влипли... как мухи в патоку. Уйди! Не мешай...

Гвардейский броненосец «Александр III» тоже горел.

- Но почему горим? - скорчился Коковцев, отказываясь понимать, что случилось сегодня с ним и со всеми...

Пылающий «Суворов» еще двигался, он еще сражался, как и положено флагману, - до конца. Пока не сгорит. Пока не утонет. Японский вице-адмирал Камимура, командовавший при Цусиме крейсерами, оставил нам запись о подвиге броненосца «Суворов» - вот она: «Его мачты давно упали, трубы одна за другой рухнули, он потерял способность управляться, а пожар все усиливался. Но он все еще продолжал сражаться и сражался с нами так храбро, что я вынужден был указать своим воинам отдать должное его небывалому героическому сопротивлению».

Иногда объективности следует учиться у противника...

...

Не станем возвеличивать тактику Того! Того действовал по шаблону: ставя «палочку над «Т», он группировал всю мощь артиллерии на головных броненосцах России, а когда их заменяли следующие за ними корабли, Того, описав маневренную дугу, опять суммировал свой огонь на броненосцах, ставших головными после поражения впереди идущих. Рожественский, в отличие от Того, не имел даже шаблонного плана, кроме твердого указания -

следовать на Владивосток! Разве же это бой? Скорее это было одиночное стремление русских кораблей к призрачному, как пустынный мираж, волшебному русскому городу, раскинувшему на зеленых холмах уютные дома и гостиницы, рестораны и магазины, танцклассы и базары, цветы и овощи, галстуки и корсеты, веера и зонтики... Где все это? Не выдумка ли?

«Суворов», похожий на костер, вышел из строя.

Эскадру теперь вели броненосцы – «Бородино» и его гвардейский собрат «Александр III»; прожженные огнем пожаров, заливаемые водой через пробоины, они стойко выдерживали заданный курс. Кажется, именно от них Того и получил десять прямых попаданий, все-таки пронзивших корпус флагманского «Миказа»... Ах, если бы еще десять, да еще таких десять! Все понимали, что битва при Цусиме проиграна, но прорыв, очевидно, возможен. Ведь за ними, ведущими и новейшими, в целости двигались старые броненосцы Небогатова, рыскали в отдалении залихватские крейсера, косо стригли бурунами горизонт ретивые миноносцы. А все море, насколько хватал глаз, было усеяно унитарными патронами из латуни, плававшими встояка, будто опорожненные бутылки, разбросанные миллионами праздных гуляк. Тут накидали расстрелянных гильз и русские, и японцы. Теперь масса кораблей двигалась в этом мусоре боевых отходов, медные унитары звончайше стучались в их железные борта...

Неужели сдаваться?

Нет, нет и нет – этого никак нельзя допустить!

Русский флот помнит: ПОГИБАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ...

Именно здесь, в самый разгар боя, я прерываю повествование, испытывая потребность к авторскому отступлению. Коковцев не понимал, отчего горят броненосцы, а в Носси-Бэ не могли понять, почему Япония смирилась с долгой стоянкой русской эскадры, не докучая Парижу гневными протестами.

Все дело было в проклятой шимозе!

Я не химик и пишу не для химиков, но все же вынужден коснуться этой злосчастной темы, что дает химическая реакция бертолетовой соли с магнием и какова убойная сила плавленого тринитрофенола?.. От этого адского варева

броня стекала с бортов, как воск, у людей при вдохе сгорали легкие, а взрывы давали такую массу мельчайших осколков, что спастись от них практически было невыносимо. Русские матросы при Цусиме, имея в теле тридцать, сорок, даже полсотни таких осколков, не считали себя увечными, продолжая сражаться. Но откуда же взялась она, эта проклятая шимоза? Какой дьявол придумал ее в своей бесовской лаборатории?

Можно догадываться, почему Япония не протестовала против стационарирования нашей эскадры в Носси-Бэ. Того был заинтересован в обратном: чтобы стоянка у Мадагаскара затянулась как можно дольше, пока его флот, после падения Порт-Артура, начинал шимозой свои снаряды. Понятно, почему Токио закидало Париж протестами, когда эскадра Рождественского очутилась у берегов Аннама (Вьетнама), – это значило, что шимоза, обернутая в мягкую фланель и обложенная красивой конфетной фольгой, уже до отказа наполнила стаканы корабельных снарядов... Думается, что Того все-таки не успел! Не успел сделать все. Артиллерия отряда адмирала Катаоки, судя по результатам Цусимского боя, не обладала снарядами с шимозой, и потому русские корабли, даже под ожесточенным огнем, легко выдерживали разрушения, не имея в соприкосновениях с Катаокой тех губительных пожаров, которые буквально изжарили передовые броненосцы 2-й Тихоокеанской эскадры...

А сейчас пойдем с эскадрой к цели: NO 23°.

Словно издеваясь над бессилием русской эскадры, мимо нее снова проходил этот проклятый «Идзумо», а с его палуб японские матросы, выкидывая вперед жилистые кулаки в белых перчатках, как на параде, трижды провозгласили славу микадо:

– Хэйка банзай! Хэйка банзай! Хэйка банзай!

Был четвертый час пополудни. Неожиданный наплыв тумана дал русским передышку в тридцать минут. «Суворов» циркулировал на одном месте, работая то левой, то правой машинами, чтобы, управляясь ими (вместо рулей), следовать за эскадрой. Это ему не удавалось... Телефоны отказали. Переговорные трубы извергали не слова команд с мостика, а лишь соленую воду океана. Вентиляция еще трудилась, всасывая в нижние отсеки не воздух, а густой дым, пронизанный белыми хлопьями шимозы, которая и удушала людей, безнадежно задранных в придонных отсеках. В боевой рубке флагмана убило всех кондукторов, уцелел лишь один матрос. Офицеры были изранены через амбразуры смотровых щелей.

Спасительные «козырьки» оказались, напротив, губительны: они экранировали осколки, не отражая их, а загоняя внутрь боевой рубки, – непростительная ошибка конструкторов! Мостик полыхал, отчего сама рубка напоминала плотно закрытый котел с грибовидною крышкой, поставленный на пламя жаровни...

Филипповский сказал Игнациусу:

– Не пора ли нам уходить?

– Куда? – спросил его Рожественский.

– В пост.

– Как?

– Через мостик, – решил лейтенант Богданов.

Он шагнул в двери, что-то под ним затрещало, и офицер провалился в яму прогара. Зиновий Петрович мелко крестился:

– Вечная память, спаси и помилуй... раздуйте люк!

Из боевой рубки в боевой пост вела узкая труба шахты. Оттащив убитых, Игнациус с Филипповским открыли люк.

К этому времени флагман уже имел два осколка в голове, один в правой ноге, несколько осколков застряли в его теле, но спуск в шахту он преодолел еще достаточно бодро.

– Конечно, – сказал он в боевом посту, – здесь можно спасти свою шкуру, но отсюда ни бельмеса не увидишь, что творится на белом свете... Я пойду, господа, наверх!

Его не удерживали. Как и все офицеры эскадры, Рожественский был в кожаной тужурке, на ногах – высокие кожаные сапоги. В треске горящих надстроек он пытался пробиться к бортовой башне, и тут его ранило в левую ногу, очень болезненно, адмирал закричал. Из дыма возник его флаг-капитан.

– А, это вы? – сказал он Коковцеву. – Что в корме?

– Уже ничего не осталось. Все горит... людей в сечку!

– Я ранен... помогите встать, – просил адмирал.

Коковцев сам ранен. Он кликнул людей из батарейной палубы:

– Эй, тащите адмирала! В носовую – она цела!

Могучая заслонка брони со скрежетом растворилась, матросы просунули флагмана внутрь носовой башни, которой командовал лейтенант Кржижановский; он подставил под адмирала ящик.

– Вы бы знали, какая боль... боль! – сказал Рождественский. – Сейчас не мне одному больно, но... Разве я виноват? И все время вижу гроб, в котором лежит Дмитрий Густавович Фелькерзам – счастливец! В этом гробу он так и ушел на грунт, а я могу только завидовать ему... Ой, как больно!

Коковцев сказал Рождественскому, что «Ослябя», покидая этот мир, унес в пучину не только мертвых, но и живых:

– Боюсь, что и моего сына... Что я скажу жене?

Рождественский пошатнулся, его поддержали.

– Была договоренность, – произнес он. – Весь мой штаб и меня с «Суворова» должны снять миноносцы... Где они?

Сказав так, адмирал потерял сознание. Туман распался, а Того снова начал выписывать «палочку над «Т». Осыпаясь снарядами, «Суворов» беспомощно кружился на месте, подставляя противнику свои израненные борта. Коковцев часто слышал непонятный треск, за которым следовало шипение. Это срывались с заклепок пластины могучей брони, подобно листам фанеры, и, раскаленные, утопали в море, извергая клубы пара.

- Адмирала надо снимать. Но где же миноносцы?

- Вот они! - воскликнул Кржижановский, а матросы нащупали в панораме прицела бегущие по волнам, низко прижатые тени миноносцев японских. - Огонь! -

С первого же выстрела удалось разбить борт японского «Чихайя», а кормовые пушки двумя попаданиями отбросили и истребитель «Сиракумо».

Кржижановский, устало выругавшись, повернулся к Коковцеву: - Не так уж плохо! Идите на перевязку. За адмиралом я присмотрю...

Лазарет был разрушен еще в начале боя, раненые собирались в жилой палубе. Здесь же сидел жестоко израненный Игнациус.

- Володя, что наверху? - спросил он стонуще.

- Крепко влетело «Александрю» и «Бородино».

- Горят?

- Сгорим! - раздался вопль сверху. - Эй, братва! Кончай тут с бинтами чикаться, валяй все во вторую батарейную...

- А чего там? - поднимались с палубы головы людей.

- Деньги, балда, делить стали, тебя ждут!

Игнациус, подавая пример матросам, поднялся:

- За мной, ребята! Живем один раз... так бабка сказала!

Коковцев тоже лез по трапу в люк, за ним двигались даже санитары, даже врачи - пожар, опять пожар! На этот раз он свирепел рядом с лазаретом, и надо было спасти увечных.

- Не гореть же им, ядри все в лапоть...

Яркая вспышка ослепила людей на палубе. Коковцев в последний раз увидел Игнациуса! В желтом пламени разрыва железную лестницу трапа закрутило, словно полотенце, обвивая ее вокруг тела командира флагманского броненосца. А когда дым развеяло, живые разглядели, что из этого безобразного рулона торчат только плечи с эполетами капитана первого ранга. Головы не было! Но именно в этой голове скептика впервые (еще с Либавы) возникла мысль, что весь этот поход аргонатов – безумная авантюра. Вспомнив об этом, Коковцев упал, ничего больше не видя и ничего не помня.

Он очнулся от воды, которой его поливали из шланга, как дворники поливают мостовые в жаркие дни. С трудом обретая сознание, он увидел Леню Эйлера.

– Жив? – спросил он его. – А меня еще не задело.

– Кто ведет броненосец?

– Не знаю. Но машины еще работают.

– Дожили... Голгофа какая-то... За что, господи?

Коковцев повернул голову, и перед ним возникло невероятное зрелище: мимо «Суворова» прокатило остов корабля, уже не имевшего ни мачт, ни труб, он шел с сильным креном, его правый борт раскалился докрасна, будто противень, дым из кочегарок вырывался не из труб, а прямо из палубы, будто там, внутри корабля, работали огнедышащие вулканы. А вся носовая часть была вскрыта, словно жалкая консервная банка.

Но он все-таки шел. Он все-таки стрелял!

– Кто же это? – не мог узнать корабль Коковцев.

– Это «Александр III», досталось ему... бедняге.

Не это поразило Коковцева – другое! На мостике броненосца, в очень спокойных позах, как дачники на веранде, стояли, облокотясь на поручни, офицеры и мирно беседовали, а вокруг них все рушилось к чертям, все погибало в пламени.

– Гвардия, – произнес Коковцев. – Помогай им бог. А кто ведет эскадру теперь? Небогатов?

– Нет, «Бородино»... горит тоже. Он и ведет.

Цусимское сражение еще не кончилось. Эйлер показал на мертвых матросов, лежавших в грязной после пожара воде:

– Ну, ладно мы с тобой! А что они... что им?

Коковцев с помощью Эйлера поднялся на ноги.

– Как жаль, что я связан адмиралом, – с ожесточением вдруг сказал он. – Лучше бы я шел на миноносцах. Тогда бы я хоть знал точно, как надо красиво помирать!

После гибели «Бородина» эскадру поведет броненосец «Орел»: еще не все потеряно, а русские моряки не сдаются.

Когда человек проявляет героизм при свидетелях – это одно. Когда человек знает, что его подвиг останется неизвестен, и все-таки он совершает подвиг, – это другое. К сожалению, мы очень мало знаем о подлинной Цусиме, а она-то как раз и напиталась кровью подвигов людей, оставшихся для нас неизвестными... Мы знаем мало. Как они грудью кидались на пробоины. Голыми руками вращали маховики механизмов, раскаленных так, что мясо оставалось шипеть на металле штурвалов. Наконец, жертвуя собой, не раз заслоняли офицеров, принимая на себя удар пламени, рванувшего из люка, или смертоносный пучок шимозы... Рожественского и его штаб обязаны были снять «Бедовый» или «Быстрый». Но их закружило в сумятице боя, полыхающего взрывами, в вихрях воронок над тонущими кораблями. Да и как отыскать «Суворова», если даже опытные сигнальщики не могли различить броненосцы по именам, – эти обгорелые изуродованные обрубки меньше всего напоминали сейчас тех гордых красавцев, что еще недавно покачивались на пасмурных рейдах Кронштадта, Ревеля и Либавы...

В половине пятого часа на «Суворове» осталась лишь одна малокалиберная пушочка. Японские эсминцы (их было четыре) снова пошли в атаку. Они двигались рывками и зигзагами, издали примериваясь к выбросу торпед...

Лейтенант Вырубов, неунывающий парень в разодранном кителе, сказал Коковцеву:

- Чем черт не шутит! Попробую еще раз!

Он сразу накрыл «Асагири», остальных разогнал огонь с эскадры, выручившей своего бывшего флагмана. И так, все кончено. Но, исполняя приказ адмирала (уже отрекшегося от участия в битве), эскадра снова – в какой уже раз! – ложилась на указанный адмиралом курс.

Коковцева отыскал почти обезумевший Эйлер:

- Динамо ослабели, электричество едва теплится. Даже пиронафтовые фонари гаснут от обилия газов. Я кричу в каждый люк – никакого отклика... Неужели в нижних отсеках одни трупы? Мрак и трупы! Открыть кингстоны? Я не сыщу штурвалов!

- О чем ты, Леня? Какие кингстоны? Это уже конец...

Словно подтверждая эти слова, рядом лопнул японский снаряд, и Коковцева с Эйлером разбросало в разные стороны. Трюмный штабс-капитан катился среди обломков рваного железа, хватаясь руками за лицо, кричал, что он ничего не видит:

- Я не вижу! Вова-а... где ты? Не вижу, не вижу...

Коковцев встал и рухнул снова. Что такое? Сапог разорван, из его обрывков торчала развороченная ступня. Боли не было. Дохромав до Эйлера, он оторвал его руки от лица. По щекам трюмного инженера, противно и дрябло, вытекли глаза.

- Держись! – сказал Коковцев. – Я отведу тебя.

- Куда? – орал Эйлер. – Куда? Я не вижу...

А в самом деле – куда вести? Из ада в ад?

– Сиди. Вот так. Сиди. Сейчас я разыщу санитаров...

Эйлер судорожно хватал руками желтые газы:

– Я никуда не уйду... Что кричат там, в корме? Вова-а...

– Да здесь я, здесь. К нам подходит миноносец.

– Японский, да? Мы разве в плену? Вова-а.

– Нет, нет! К правому борту подходит «Буйный»...

«Буйным» командовал кавторанг Коломейцев.

– Коля, – окликнул его Коковцев, – ты откуда взялся?

Под бортом «Суворова» море швыряло маленький миноносец. Коковцев глядел вниз, Коломейцев задирал голову кверху:

– Слушай, что у вас тут творится? Я ведь ничего не знаю. Приказов не получал. Шел мимо. Вижу, горите. Думаю – дай-ка спрошу, не надо ли помощи... Рад видеть тебя живым!

– Коля, принимай адмирала, – объявил Коковцев.

Волна, приподняв эсминец, обрушила его вниз, и шумные потоки воды неслись по его палубе. Коломейцев – в рупор:

– Я ни хрена не слышу... повтори!

Коковцев повторил, чтобы снимал Рожественского.

– Не болтай глупостей! Ты же сам миноносник... видишь, какая прет волна. Как я сниму? Есть ли у вас шлюпки?

– Сгорели или разбиты... нету. Ничего нету.

Заметив корабль под бортом броненосца, японские крейсера Камимуры открыли по ним интенсивный огонь. Далее весь нервный диалог двух миноносников строился в редких паузах между бросками волн и взрывами снарядов.

Коковцев доказывал:

– Ломай борт в щепки... пусть трещит мостик и даже твои кости! Но адмирала надобно снять... Слышишь? Это приказ.

– Черт с тобой, Володя, давай Зиновия!

Легко сказать – дай! Но исполнить это – все равно, что с крыши многоэтажного горящего здания, которое сейчас обрушится, передать младенца на крышу маленького сарая, готового вот-вот быть раздавленным. Оценить всю дерзость подобного маневра могут, кажется, одни моряки, да и то лишь те, что уже побывали в различных переделках!

Рысцой прибежал вестовой адмирала – Петька Пучков:

– А хучь убейте: не идет адмирал, и все тут.

– Ты сказал ему, что «Буйного» нам бог послал?

– Сказал. А он – кувырк, и папироска во рте...

Коковцев рванулся вперед, но тут же упал от боли в ноге:

– Где Клапье де Колонг? Где, наконец, все?

Лейтенант Кржижановский не покидал носовой башни:

– Адмирал еще у меня. Иногда без сознания. А иногда спрашивает, что с эскадрой? От перевязок отказывается. А дверь в башню заклинило. Осталась щель... Во! Крыса не пролезет.

– Ничего. Протиснусь, – сказал Коковцев, и, теряя пуговицы с тужурки, страдая от ран, он проник в башню, внутри которой сидел Рожественский, голова его была замотана окровавленным полотенцем, возле ног адмирала валялись погасшие окурки, это удивило Коковцева. – Что, он еще курит?

– А! – отмахнулся Кржижановский. – Лишь покуривает...

Рожественский на минуту снова обрел сознание:

– Отыщите мне Филипповского... флагштура!

– Если он не сгорел в посту, – ответил Коковцев.

– Хоть пепел от него! Он помнит наши маневры. Он, единственный, должен знать все, чего не знает никто...

Филипповский не мог двигаться. Старика притащили на себе матросы. Лицо флагманского штурмана было сплошь залито кровью, будто в него выпалили заряд мелкой дроби, а эту ужасную маску лица покрывало копотью пожаров и пиронафтовых фонарей.

– Без вас я никуда, – объявил ему Рожественский.

– Если решили уйти, – отвечал штурман эскадры, – так оставьте меня на «Суворове»: хочу с ним и умереть.

Кржижановский притянул к себе за рукав Коковцева:

– Что их, дураков, слушать? Они ведь уже ни черта не соображают. Думайте, как вытащить адмирала из башни!

Все происходило под неустанным огнем крейсеров Камимуры. С палубы позвали матросов. Забравшись в башню, они дружно вцепились в адмирала, и он, вскрикнув, снова потерял сознание.

– Оно и лучше, – говорили матросы, пропихивая Рожественского, словно дряблый большой мешок, в узкий просвет заклиненной двери. – Трещит... ой, трещит!

Чего там трещит? Это япошка натрещал и навонял тута... Тужурка, балда, трещит! Так што нам с того? Не мы ее шили, не мы пропьем... Давай, Ванька, меньше думай – умнее станешь! Тащи... тащи яво!

Адмирала хотели передать на связанных койках, но боцман с «Буйного», человек опытный, концов не принимал:

– Эй, халявы! Кого передавать на концах хотите?

– Да адмирала... кого ж еще?

– Бурдюк с твоим поносом – и тот лопнет сразу! Или не вишь, пентюх, какая волна накатывает... Соображать надо!

Коковцев понял, что ему спастись бессмысленно.

– Коля, – позвал он Коломейцева, – попрощаемся. Меня в спину... ходить не могу. Но прими адмирала... Рискни!

В обычных условиях за такой риск командирам кораблей если не снимали с них голову, то срывали с плеч эполеты. Но Коломейцев понял и сам, что ждать больше нельзя.

– Мы отходим! – отвечал он. – Не дури... прыгай!

Уродливые изломы железа бортов, выпученные из батарей обрубки орудийных стволов, вся рвань сетевых заграждений, еще горевшая в смраде, – Коломейцев рисковал распороть свой миноносец обо все это, режущее и торчащее наружу, словно ножи.

– Адмирал на «Буйном», – раздались голоса.

– Давай других... смелее! – кричали с эсминца.

«Буйный» снял с броненосца пять офицеров штаба. Матросы перебросили Коковцева на миноносец, выбрав такой идеальный момент, когда «Суворова» опустило на волне вниз, а другая волна подняла «Буйный» кверху: их палубы на

секунду образовали единую плоскость. Подвывая от боли, каперанг взобрался на теплый кожух машинного отделения и затих там – в муках. Он слышал, как на мостике «Буйного» давал свистки Коломейцев.

– А вы что? – кричал он оставшимся на «Суворове».

Офицеры флагманского броненосца выстроились на срезе батарейной палубы – вровень с матросами. Стояли рядом:

– Мы остаемся вместе с кораблем... Ура, ура, ура!

– Уррра-а-а... – подхватила команда миноносца, прощаясь с ними навеки, и «Буйный» задрожал от работы машин.

В последний миг Коковцев заметил, что на том месте, где оставил он Эйлера, зияла страшная дыра прямого попадания. Потом из этой пробоины жарко выбросило длинный лоскут яркого пламени – снова пожар! Но... кто будет тушить его? Больше никто и никогда не видел «Суворова».

...

Никто и никогда, кроме японцев... Для нас, русских, «Суворов» попросту растворился в безбрежии моря, удаленный течением из эпицентра битвы, и мы знаем о нем лишь то, что сообщили потом сами же японцы. Совершенно случайно, вдали от боя, тринадцать кораблей Того заметили разбитый и сгорающий броненосец, а где-то еще дальше дымила пожарами работающая «Камчатка».

С плавучей мастерской японцы разделались в два счета, не позволив уцелеть с нее никому – ни офицерам, ни матросам, ни питерским пролетариям...

Вот тогда броненосец «Суворов» открыл огонь!

Сам в огне, он повел огонь по врагу.

Запомним: он сражался единственной маленькой пушкой.

Один – против тринадцати! Он сражался... Казалось бы, уже все? Нет, не все.

Полтора часа подряд японцы уничтожали русского флагмана, невольно восхищенные его мужеством и непотопляемостью. Но вот солнце склонилось к горизонту, и «Суворов», освещенный последним его лучом, с шипением и треском, в дыму и пламени, медленно и величаво погрузился в бездну, так и не став побежденным. Японские миноносцы обрыскали место его гибели.

Ни единой щепки. Ни единого человека! Пусто...

У каждого корабля своя биография, свой некролог.

Гвардейский броненосец «Александр III» покинул строй с губительным креном, который, быстро увеличиваясь, заставил его перевернуться. Люди облипали его черное днище, цепляясь за водоросли, растущие на нем, словно чудовищный лес, а японские снаряды сбрасывали в море целые толпы людей. «Александр III» увлек за собой всех, ни одного спасенного не было.

«Бородино», почти весь день водивший за собой эскадру, объятый пламенем, продолжал стрельбу. Он тоже перевернулся. Но до самого конца не покинул строя, и следующие за ним корабли прошли над его клокочущей могилой, из которой они успели выхватить только одного человека – это был матрос Семен Ющенко, георгиевский кавалер...

Темнота нахлынула сразу – без сумерек. Небогатов на своем «Николае I» обогнал разрушенного в битве «Орла» и, заняв место впереди, повел остатки разгромленной эскадры далее.

К чудесному городу по имени Владивосток!

Адмирал Того выпустил во мрак ночи разъяренные стаи гончих – это его эсминцы, кренясь, ринулись в атаку.

Их командиры жаждали. Славы. Орденов. Чести. Денег.

Добить. Доломать. Дождечь. Истребить все...

Чтобы ничего не осталось от русских на волнах моря.

.....

Вернемся на «Буйный»... Рожественский и офицеры его штаба были сняты эсминцем с флагмана за два часа до захода солнца.

- Держать ли мне ваш флаг? - спросил Коломейцев.

- У меня нет флага, - ответил ему Рожественский...

Он распорядился поднять сигнал: КОМАНДОВАНИЕ ЭСКАДРОЙ ПЕРЕДАЮ АДМИРАЛУ НЕБОГАТОВУ. Затем впал в бредовое состояние, но - уже с носилок - вдруг произнес очень внятно:

- О чем речь? Курс прежний - на Владивосток, и пусть эти слова станут для всех моим - последним приказом...

В дымной мгле сражений не могли разобрать флагов, тогда кавторанг Коломейцев подогнал своего «Буйного» к «Безупречному», обратясь через рупор к его командиру Матусевичу:

- У меня адмирал. Ранен. Будь другом, выручи: сбегай до Небогатова, передай ему сигнал голосом... Понял?

«Безупречный» помчался. «Николай I» отреагировал на это флагами: КОМАНДОВАНИЕ ПРИНЯЛ. СЛЕДОВАТЬ ЗА МНОЙ. Коковцев, цепляясь за поручни трапа, поднялся на мостик миноносца. Клапье де Колонг был, кажется, недоволен его появлением.

- Шли бы вы отсюда, - сказал он. - Вы же с ног валитесь. А на мостике и без вас народу хватает, не повернуться...

Это обидело Коковцева, с возмущением он ответил:

– Я такой же флаг-капитан, как и вы, Константин Константинович, а поднялся, чтобы узнать о судьбе сына с «Осляби».

Коломейцев дружески подтолкнул его к трапу:

– Володя, не спорь. В носовом кубрике их полно...

Коковцев не стал спорить, но спросил: куда идем?

– Напролом – к Дажелету, а там что бог даст...

Меркнувший горизонт пронзали яркие вспышки – как зарницы над хлебными полями, когда созревает колос: это вдалеке продолжалось Цусимское сражение.

Пристанывая от боли ранений, Владимир Васильевич спустился в кубрик. «Буйный» сумел спасти много людей из экипажа «Осляби», и теперь, в синем полумраке ночных ламп, перед Коковцевым ворочалась стонущая, хрипящая, желаящая жить и тут же умирающая, громадная, переплетенная ногами и руками масса живого, но уже негодного ни к чему человеческого материала. Он спросил наугад:

– Мичман Георгий Коковцев... нет ли его?

Умирающий от кашля, мичман Басманов сказал:

– Здесь четверо офицеров. Но вашего сына нет с нами... Не отчаивайтесь: нас хватало с воды четыре миноносца. Может, он на «Блестящем» или «Бравом»?

Явилась робкая надежда, что Гога еще жив. Но к горлу подступила вдруг липкая тошнота. Владимир Васильевич прислонился к пиллерсу, креном его сбросило на палубу. Он долго лежал в груди людей, которые еще утром общались с его сыном... Очнулся от ужасного озноба, бившего все тело. Над ним склонился фельдшер Кудинов и еще кто-то, незнакомый.

– Кто вы? – спросил его Коковцев.

– Мичман Храбро-Василевский, прямо с мостика.

– Зачем меня разбудили? Так было хорошо.

– Нас прислал командир. Мы уж думали, что вас смыло волной за борт. С трудом отыскали. Пойдемте отсюда...

Его отволокли в кают-компанию, где Коковцеву показалось намного хуже, чем в «низах». На узких диванчиках лежали раненые (или, может, подвахтенные, которым хотелось просто выспаться?). Коковцев расплакался, как ребенок.

– Потерпите... до Владивостока, – сказал ему мичман.

– Какой тут к черту Владивосток? Оставьте меня...

«Буйный» взлетал на гребень волны, потом его опускало вниз, и было слышно, как потоки воды омывают его карапасную палубу. Коковцев сам забрался под стол. Притих, сжавшись. Фельдшер Кудинов разрезал сапог на его ноге, упрекнул:

– Что же вы? Надо было ранее босиком ходить. А то, сами видите, какой уж час в грязи да мрази шлепали...

Он перевязал ступню, кое-как приделал к ноге распоротые ошметки сапога, велел из-под стола не вылезать:

– Иначе вас тут в темноте затопчут... Не дай бог, аллярм сыграют, тогда все, как стадо, в люк кинутся...

Странно, что сейчас для Коковцева не было на белом свете никого роднее и ближе этого безвестного фельдшера, и, схватив матроса за руку, он благоговейно ее поцеловал.

– Что вы, ваше высокоблагородие, – застыдился Кудинов...

«Буйный» опять вздымало кверху, душа неслась, будто в городском лифте, отчего вдруг вспомнилась тихая квартира на Кронверкском, пахнувшая озоном ванная с ворохом пушистых и мягких полотенец. Он ерзал телом на голом

железе палубы, над ним скрипела доска обеденного стола, грязная вода сочно шлепалась вокруг него. И сладостные, уверенные гимны прошлой блаженной жизни бушевали в разрушающемся сознании:

Нет панихиды похоронной,

Как нет и гробовой доски...

Но, даже мертвые, вперед

Стремимся мы в отсеках душных,

Живым останется почет,

А мертвым орденов не нужно...

С этим он погрузился в мучительный сон. Его взбудрила возня на верхней палубе, резкие призывные голоса. Коковцев подтянулся к иллюминатору: в круглом стекле, будто в аккуратной рамочке, качался кусок моря, в нем – крейсер «Дмитрий Донской», а вдалеке захлестывало пеной эсминцы «Бедовый» и «Грозный». Он вспомнил их командиров – Баранова и Андржеевского...

– Эй, – окликнули через люк, – которые тута из штаба?

– А что? – спросил Коковцев.

– Машины не тянут. Угля – кот наплакал. Так што, которые, значит, при адмирале были, теих просят на крейсер...

Хмурый рассвет начинался над океаном. Матросы уже тащили носилки, к которым был привязан Рождественский. Недавно еще грозный владыка могучей эскадры, он теперь напоминал бездушную куклу, с которой можно вытворять все, что хочешь.

Кажется, он и сам это понял. Понял и взбеленился.

– На крейсер не пойду, – вдруг заартачился он.

Клапье де Колонг уговаривал: на «Дмитрии Донском» безопаснее, нежели на этих трясучках-миноносцах, крейсер имеет отличный лазарет, офицеры – хороший стол.

– С...ть я хотел на твой стол, – нахамил ему адмирал. – Лучше уж на «Бедовый», к Баранову... тащите, братцы. Марш!..

Почему он так решил? Почему отказался от крейсера? Может, в душе адмирала еще не угасли порывы юности, связанной с жизнью на миноносцах? Этого мы никогда не узнаем. Носилки с Рождественским, поставленные на попу, воткнулись сверху в палубу катера, и адмирала чуть было не скovyрнули в море.

– А вы? – спросил Клапье де Колонг Коковцева.

– У вас ноги целы... прыгайте... я за вами...

Но сразу решил, что лучше оставаться на «Буйном». Коковцев проследил, как в кипении моря быстро исчезли «Бедовый» и «Грозный». Коломейцев позвал его с высоты шаткого мостика:

– Ты остался? Смерти с нами ищешь?

– Надоело слушать всякую ерунду. Будем умнее.

– Тогда спускайся ко мне в каюту. Я сейчас...

Чашка чаю с коньяком и порошком лимонной кислоты была кстати: Коковцев чуть оживился. В углу командирской каюты валялись комки окровавленных бинтов – после перевязки Рождественского. «Буйный» мотало в дрейфе, пока крейсерские шлюпки перевозили на «Дмитрия Донского» спасенных с броненосца «Ослябя»...

Николай Николаевич Коломейцев сказал:

– Нелепый фарс! Зиновий от Либавы до Ван-Фонга дрожал над каждым куском угля, делая из бункеровок пытку для экипажей, а в самом конце пути всевышний наказал его – угля не стало... Очень больно, Володя? – спросил он участливо.

– Иногда – хоть кричи. А сейчас полегчало...

На трапе Коломейцев поддерживал его за локоть.

– Что мне делать с «Буйным», когда уголь кончится?

– Топи его... не сдавать же японцам!

...

Многое из того, что творилось за чертой горизонта, было недоступно пониманию моряков... В ночь на 15 мая Того атаковал остатки русской эскадры, плывущей под флагом Небогатова. Море было пропитано фосфорным блеском – все вокруг светилось с такой непостижимой красотой, будто плавилось серебро, под форштевнями броненосцев буруны росли как драгоценные слитки. Отчаянные атаки японцев разрушили систему эскадренного строя, и множество кораблей, потеряв связь с флагманом, в трагическом одиночестве рассекали эту страшную ночь килями, помня одно – курс: Владивосток!..

В луче прожектора запечатлелась одна сцена. Вот она: на мостике подбитого японского миноносца стоял командир, еще молодой офицер, и с философским спокойствием докуривал свою последнюю папиросу. Самурай был настолько преисполнен презрения к русским, что даже не повернул головы, когда броненосец проходил мимо. Его эсминец сильно парил разорванными котлами... Залп! Японский корабль разорвало на две части, которые, встав вертикально, с шумом и свистом ушли в бездну, и огонек папиросы самурая погас навеки.

Небогатов тогда восхищенно сказал:

– Умеют они, сволочи, помирать... а мы?

К рассвету у него остались лишь флагманский «Николай I», «Орел», сильно избитый в дневном бою, «Адмирал Сенявин», «Генерал-адмирал Апраксин» и крейсер «Изумруд»... Еще не было пяти часов утра, когда горизонт начал

заполняться дымами японских кораблей. Того крепко спал в салоне своей «Миказы», качавшейся в тридцати милях от острова Дажелет; его разбудила радиосводка от вице-адмирала Катаоки, наблюдавшего движение русских к югу от Дажелета. Того поспешил на пересечку, и в 10 часов утра небогатовская эскадра (в пять вымпелов) увидела перед собой такое незабываемое зрелище, от которого даже у бесшабашных смельчаков кровь стыла в жилах.

Куда ни бросишь взор, сверкали сталью японские эскадры – адмиралов Катаоки, Уриу, Камимуры, Девы и самого Того, всего 28 боевых вымпелов! Крейсер «Изумруд», почуяв на шее удавку, сразу выбросил сигнал: «Прошу разрешения идти на Владивосток». Небогатов не дал ему ответа, срочно собирая на мостике флагмана военный совет: что делать? как быть?.. Железные тиски, в которые японцы удачно замкнули русских, казались нерасторжимы. Но самое удивительное в том, что издалека японская армада выглядела свежо и добротнo, будто вчера не было никакой битвы. С дистанции в шестьдесят кабельтовых они открыли огонь по флагманскому «Николаю I», но отвечал на их выстрелы лишь доблестный, весь израненный броненосец «Орел».

Небогатов якобы сказал тогда своему штабу:

– Эти пять старых, истерзанных развалин не стоят многих человеческих жизней... Готовьте «953» к подъему!

«Николай I» поставил машины на стоп, он спустил флаги, а на мачту взлетел сигнал «953», означавший: «Сдаюсь». Сигнальщики броненосцев репетовали сигнал, переведенный с Международного свода на общедоступный язык: **ОКРУЖЕННЫЙ ПРЕВОСХОДЯЩИМИ СИЛАМИ ПРОТИВНИКА, ВЫНУЖДЕН СДАТЬСЯ.**

Японцы, не разобрав цифровой код, продолжали забрасывать «Николая I» снарядами, и тогда, чтобы спасти флагмана от расстрела, «Орел» задробил стрельбу своих башен. Все умолкло. На мачту «Николая I» медленно вползало знамя Страны восходящего солнца...

Слышались рыдания измученных людей, крики:

– К едреней матери! Не сдаваться! Вперед! На прорыв! Эй, трюмачи, какого хрена спите? Раздраивай кингстоны...

«Изумруд» тоже стал поднимать над собой флаг Японии, но в середине подъема сигнальщик резко дернул фалы назад. Вот этого никто не ожидал – ни Того, ни сам Небогатов. «Изумруд» воздел стеньговые красные флаги (означающие: к бою!) и рванулся в узкий промежуток между эскадрами адмиралов Девы и Того. За дерзким и непокорным погнались отличные ходоки – «Читозе» и «Касаги», но «Изумруд» прорвал кольцо блокады и пошел, пошел, пошел... прямо во Владивосток! Пусть же память об этом «Изумруде» останется для нас, читатель, священна...

Но такой памяти не заслужил миноносец «Бедовый».

Зиновий Петрович часто терял сознание, безжизненно отдаваясь качке, и даже опытный врач с «Дмитрия Донского» (так и оставшийся на «Бедовом») считал положение адмирала безнадежным. Командир «Грозного», кавторанг Андржеевский, вел свой эсминец впереди «Бедового», хорошо различая на его мостике две фигуры в дождевых плащах – флаг-капитана Клапье де Колонга и командира кавторанга Баранова. Ни «Бедовый», ни «Грозный» никаких повреждений не имели, их машины работали хорошо. Миновало уже четыре часа после того, как они расстались с «Дмитрием Донским» и «Буйным», добравшим из бункерных ям последние остатки угля... Сигнальщик сорванным голосом вдруг доложил Андржеевскому, что по левому крамболу – два дыма. Это шли японские миноносцы. Напряжение на мостике проявилось в суровом молчании, которое нарушил сам Андржеевский:

– «Сазанами» и «Кагеро»... Передайте на «Бедовый», чтобы набирали обороты. Японцы, чувствую, от нас уже не отвяжутся, а посему... По местам стоять, орудия – к бою!

Но ручка телеграфа на «Бедовом» осталась в положении «средний ход». Клапье де Колонг сказал Баранову:

– Нельзя же рисковать жизнью адмирала ради одного паршивого миноносца... Нам этого никто не простит!

Эти два человека сразу отказались от мысли о сопротивлении двух эсминцев против двух эсминцев противника. Впрочем, ради соблюдения проформы, Клапье де Колонг навестил в каюте Рожественского, доложив ему о преследовании:

- «Кагеро» и «Сазанами»... уже близко. Нам не уйти!

Рожественский ни слова не ответил. Он открыл глаза и снова закрыл их. Затем последовал внятный кивок умирающего человека. Это был момент, когда с мостика «Грозного» Андржеевский разглядел, что «Бедовый» совсем застопорил машины. На его фалах развернулся флаг, умолявший врага о милосердии, флаг Международного Красного Креста, который боевой эсминец превращал в плавучую больницу. А потом...

- Мерзавцы! - сказал Андржеевский, ставя телеграф на «полный вперед». - Господа, мы сорвем банк на отходе...

«На отходе» - это значит, что действует кормовой плутонг. Пушки его метелят преследующего по носу. А любая дырка в носу преследователя - на скорости погони! - становится брандспойтом, из которого вода вонзается внутрь такими бивнями, что способна убить человека насмерть. «Сазанами» остался сторожить «Бедового» с адмиралом, за «Грозным» погнался быстроходный «Кагеро». Бой на отходе длился сорок пять минут. Иногда японцы (в смелости им не откажешь) сближались до двадцати шести кабельтовых. Поражали друг друга в упор: настигающий «Кагеро» бил под корму «Грозного», отходящий «Грозный» заколачивал снаряды в «скулы» японского миноносца. В результате «Кагеро» вдруг закутался облаком пара, осел носом и, быстро отставая, исчез в волнах. На мостике «Грозного» - каша из убитых, а на лице Андржеевского вместо глаза - страшная кровавая впадина... С трудом он отвел руки от израненного лица.

- Но банк сорвали, - сказал он. - Пошли дальше...

На остатках топлива, спалив в котлах пробку и дерево обшивки, кидая в котлы штаны и рубахи, сухари и книги, они вечером 16 мая вышли к острову Аскольд, где, не в силах уже двигаться, запустили под облака воздушного змея с радиоантенной, передав во Владивосток скромную просьбу: «Пришлите врача, воды и угля. Дойдем сами...».

Итак, Небогатов сдался. Рожественского сдали.

Но мы оставили Коковцева на миноносце «Буйный».

Только что им делать? У них же угля - кот заплакал...

...

В ходовой рубке «Буйного» ругался рулевой кондуктор:

– Прогадили честь флота русского... ах, прогадили! Сколь лет табаню, в пятку тянусь, да рази ж мне пришло бы такое в голову? Был до флоту приказчиком в магазине, бабам ситцы аршином мерил, а меня, дурака, сюда потянуло, пофорсить захотелось... Вот и влип в самое дерьмо! Ой, беда, беда...

– Не шуми, – сказал Коломейцев. – Опять три дыма...

Сначала их было шесть. Теперь остались три. Но два уплыли к северу, нагоняя крейсер «Дмитрий Донской», а один начал сближение с отставшим русским миноносцем. Коломейцев сказал:

– Кажется, сейчас нас будут разносить в куски...

Коковцев взором опытного миноносника правильно оценил обстановку, даже забыв о боли, вытянулся, весь в напряжении:

– Приводи японца на правую раковину, тогда, Коля, можно действовать двумя плутонгами сразу – и с носа, и с кормы.

– Попробую, – согласился Коломейцев, и струя воды, взбаламученной винтами эсминца, описала по морю широкую дугу разворота: теперь японцы настигали «Буйный» с кормы, но чуть отступив вправо, подставляя свой левый крамбол.

– Там его и удерживай! – крикнул Коковцев. – Можете ли дать хотя бы сто двадцать несчастных оборотов?

– Мог... только не здесь, а на Транзундском рейде.

– У-у, черт побери... – Понимая, что «Буйный» все равно обречен, Владимир Васильевич приник к амбушюру переговорной трубы, командуя: – Прибавьте

оборотов... сколько можно!

- Машины разнесет, - утробно отвечала труба.

- Плевать! Игра стоит свеч... давай, выжимай узлы!

Физически он ощутил напряжение эсминца, который задрожал, будто человек в лихорадке. Пушки заговорили разом. Четырехствольные автоматы системы Норденфельда выпускали снаряды с таким противным скрипом, словно где-то во тьме ночного Парголова хулиганы отрывали от забора доски с гвоздями...

Кондуктор, осунувшись телом, еще стоял у руля:

- Амба... открасовался! Примите штурвал...

Ничком он сунулся в кучу сигнальных флагов, быстро их переверошив, будто искал что-то потерянное, и - умер. Так быстро умер, словно ему дали смертельный яд... Эсминец валило в затяжном крене, корпус его сотрясался на залпах плутонгов, кормового и носового. Японский миноносец отвернул в сторону, не выдержав огня. Коломейцев опустил бинокль:

- Связался черт с младенцем... Санитары, убрать убитого!

На последних остатках топлива «Буйный» нагнал «Дмитрия Донского», задержав его сигналом: «Просим остановиться». На мостике крейсера реяла рыжая бородача командира - Лебедева.

- Что еще там стряслось? - зычно спросил он без рупора.

- Машины - вдрызг, котлы засолились, угля - на лопате...

После короткого совещания решили: команду миноносца заберет крейсер, после чего Лебедев указал штурману:

- Отметьте координаты и время. По «Буйному», господи благослови и прости ты нас, грешных, - огонь!

Эсmineц, вздрагивая от попаданий, никак не желал тонуть от своих же снарядов, его трудная кончина задержала крейсер в семидесяти милях к югу от Дажелета. Затем «Дмитрий Донской» набрал ход, но ближе к вечеру вокруг крейсера возникло множество дымовых шлейфов, скоро проступили и очертания японских кораблей... Коковцев спросил каперанга Лебедева:

- Иван Николаич, а сколько еще до Владивостока?

- Миль триста... если ничего не случится.

- Так уже случилось, - ответил Коковцев.

Он спустился в лазарет, чтобы сменить перевязку.

- Что веселого? - спросил врач, кивая на потолок.

- Дымы.

- Много?

- Четыре крейсера и, кажется, отряд миноносцев.

- Вам бы лучше остаться в лазарете и полежать.

- Благодарю. Что лежа, что стоя - один черт...

Когда он, хромя, выбрался из лазарета, старший офицер Блохин сообщил, что появились еще два крейсера:

- Честь имеем: противу нас вся эскадра Уриу.

Настигая русский крейсер, японский адмирал Уриу расцветил свои мачты сигналом: АДМИРАЛ НЕБОГАТОВ СДАЛСЯ.

- Огонь! - скомандовал Лебедев, и порыв горячего воздуха распушил его бороду, словно веник.

Погоня за одиноким крейсером длилась до позднего вечера, когда по левому траверзу «Донского» обрисовались контуры мрачной и нелюдистой скалы Дажелета. Уриу вызвал по радио от берегов Кореи еще два крейсера, еще два эсминца. Забрав на пересечку курса, они захлопнули то крохотное «окошко», через которое корабль устремлялся к Владивостоку. Но пока еще не стемнело совсем, Уриу поднял второй сигнал, чтобы русские знали: РОЖЕСТВЕНСКИЙ ТОЖЕ В ПЛЕНУ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СДАТЬСЯ.

– Усилить огонь, – отвечал Лебедев, а офицеры крейсера оживленно заговорили:

– Что, разве и Зиновий сдался?

– Если это правда, то мы, русские, стали на морях хуже испанцев...

Коковцев вспомнил адмирала Сервера, рыдающего вздохом, когда у берегов Кубы победители-янки тащили его из воды за шкуру. «Неужели и нам уготован такой позор?..» На секунду его мысли перекинулись в недавнее былое, когда у Кубы играл румынский оркестр, а он, по-юношески оживленный, чаровал большеглазую Ивону своими новеллами... Чем же теперь закрыть дыру на том месте, где навсегда оставил он кричащего от ужаса Леню Эйлера? Об этом лучше не думать...

Лебедев, развеиваясь бородицей, словно сказочный витязь, держал в громадных кулаках рукоятку машинного телеграфа; его крейсер отстреливался с двух бортов сразу, и он, оглядывая горизонт, говорил в паузах между регулярными залпами:

– Наверное, в салонах Питера всякие мудрецы в пенсне и резвые дамочки уже обливают нас помоями. Им кажется, что дойти до Владивостока примерно так же приятно, как на речном трамвае до променада в Мартышкине... Господа, не пришло ли время топить корабельную казну и все тайные шифры?

С секретными кодами топили и казенные деньги. За борт сыпалось чистое русское золото. Возле стояли матросы, у которых дома гнилая соломка покрывала избяные крыши, но ни у кого не возникло ничтожкой мыслишки – сунуть в карман штанов хотя бы один червонец. Казначей, расщедрясь, взывал:

– Налетай, братцы! Кому деньжат хоца?

Какие там деньги? Жить – вот главное сейчас...

– А вот и меня! – вдруг гаркнул Лебедев.

С этими словами богатырь грохнулся навзничь на решетки мостика, дрожащие вместе с крейсером от напряжения машин.

...

Кто уже пережил расстрел шимозою и вкусил от тьмы пучины, для тех вторичное испытание огнем и водою вдвойне невыносимо. Именно в таком положении и оказались на «Дмитрии Донском» спасенные с «Осляби» и «Буйного»: число убитых и раненых среди них перевалило уже за двести человек. Сами не участвуя в бою, они погибали, как посторонние свидетели этого беспримерного боя... По мере приближения Дажелета японцы активизировали стрельбу, пространство вокруг крейсера наполнялось нескончаемым гулом, пожар за пожаром вспыхивали в надстройках. Старый корабль разрушался под ударами, внутри отсеков все билось и трещало – стекла, посуда, картины, лампы, шпаклевка. Кусками отскакивала от бортов защитная пробка. От страшного шума люди глохли и теперь кричали. Место командира занял старший офицер Блохин, сказавший офицерам:

– Погреба истощены, насосы холостят, в нижних отсеках полно забортной воды... Пусть меня судят, но я выброшу крейсер на камни Дажелета, чтобы спасти людей... хотя бы с «Осляби»!

Из погребов кондукторы докладывали на мостик:

– Снарядов осталось минут на десять боя. Открывайте кингстоны... здесь, в погребах, больше не выдержать. Вода-а! Мы торчим по шею в воде. Элеваторы отказывают... все!

Последние пиронафтовые фонари чадил на переходах, трапы сбило огнем, валялись трупы, похожие на вялые мешки, разбросанные кем-то повсюду. Дажелет приближался, и Блохин отдал команду к спасению:

- Первых с «Осляби», потом с «Буйного», затем мы.

Спасаться? Но – как? Шлюпки и катера давно разбиты.

- Выносить раненых наверх, вязать их к койкам и выбрасывать за борт, – распоряжался Блохин с мостика.

Коковцев попрощался с офицерами крейсера, на палубе его придержал молодой матрос с приятным лицом. Даже козырнул:

- Ваш высокобродь, а что дале-то будет?

- Я бы сам хотел знать это, братец... Ранен?

- Бог миловал, – отвечал матрос. – Ошалел, это верно.

- Помоги мне... можешь? Вместе выкупаемся.

- Как не понять? Вместях завсегда веселее...

Над ними, упавшими в быстробегущую воду, тяжело и мощно промчало крейсерский корпус. Вынырнув, Коковцев увидел, что японцы спускают шлюпки, а все море усеяно головами людей, плывущих к Дажелету. «Дмитрий Донской», кажется, уже сбросил давление в котлах, он качался на большой глубине, впуская в себя через кингстоны забортную воду. Его мостик по-прежнему был заполнен офицерами – они уйдут последними... Неистовый кашель удушал Коковцева после того, как он заглянул во впадину бездны, где так темно и жутко (и где, может быть, уже навеки затих его сын). Матрос вцепился во флаг-капитана, усердно его поддерживая, орал прямо в ухо, сочувствуя:

- Сблюй!.. Сблюй – легче станет, трави, трави, трави...

Волна несла их на пенистых плюмажах гребня, потом сбрасывала пловцов куда-то низко, и в эти моменты Коковцев не различал ничего, кроме водяных стен, окружавших его. Японцы со своих кораблей старательно светили прожекторами, отчего море, и без того мрачное, казалось еще ужаснее.

– Как зовут? – спросил Коковцев, чуть отдышавшись.

– Бирюков я... Пашка... гальванер... мы-то рязанские!

Волна несла дальше, то вздымая вверх, то погружая в глубину, и Коковцев сорвал с ремешка именные часы.

– Ты моложе меня, – сказал он Бирюкову. – Может, и доплывешь до Дажелета, а я... возьми! Держи часы...

Бирюков, словно он сошел с ума, дико захохотал.

– Да куда ж я опаздываю? – спросил Пашка, длинной струйкой выпуская изо рта лишнюю воду. – На што мне в ваши часы глядеть? Или уж остатние минутки считать? Ха-ха-ха...

– Слушай... не дури! Коли спасешься, отдай часы сыну моему... Никите Коковцеву! Запомни и адрес, братец: Петербург, Кронверкский... дом со швейцаром. Я там живу... там я жил!

Бирюков перехватил часы, волна тут же разорвала их руки, офицера повлекла в одну сторону, матроса в другую.

– Отда-а-а-ам... – пропаще замерло вдалеке.

Одиночество сразу ослабило волю. Утопающий за бритву хватается, но сейчас перед Коковцевым – только волны, и не было даже бритвы, чтобы за нее ухватиться. Дажелет высился в освещении прожекторов, напоминая театральную декорацию, мимо с адским шумом промчалось большое тело незнакомого корабля, и Коковцева чуть не затянуло под его работающие винты. Волшебной чередой в сознании возникали вещи, которые он трогал, женщины, которых целовал, деньги, которые транжирил, и застолья, на которых

роскошествовал... Это был конец!

В шуме моря – скрипы уключин и всплески весел.

– Скорее... скорее... – шепотом умолял Коковцев.

Волна вскинула его выше, он увидел белый вельбот, а японский офицер, сидевший на румпеле, показался спасителем.

– Хаяку... хаяку! – звал его Коковцев. – Скорее...

Грубые руки вцепились в воротник тужурки, потащили Коковцева внутрь шлюпки; японский офицер держал в руке русско-японский разговорник, из которого с улыбкой вычитал слова:

– За-да-расту, – сказал он. – Каки пожи-ва-те?

– Камау-на, – отвечал Коковцев. – Исибани дес...

Да! Теперь все хорошо, даже великолепно. Японский офицер, вроде бы даже разочарованный таким оборотом дела, сунул разговорник в карман. Под банкою вельбота, выпучив глаза, сидел крейсерский священник и, громогласно икая от ужаса, держал на вытянутой руке клетку с попугаем. Попугай был мертв! А вокруг Коковцева вяло, словно сонные крабы, шевелились тела спасенных, сотрясаемые приступами надрывного кашля. Это клокотала в их легких вода... Коковцева бурно вырвало. В состоянии шока, он еще не понимал, что открывается новая страница его биографии – он в плену!

...

Внутри японского крейсера – как в хорошем доме, и тепло и чисто; под ногами плетенки манильских матов; ровное гудение машин и вытяжной вентиляции. Надо отдать должное японцам: вели они себя удивительно сдержанно, не проявляя перед русскими никакой радости по случаю победы над ними. Коковцева провели по отсекам так замечательно, что при всем желании флаг-

капитан не смог бы заметить ни боевых разрушений, ни особенностей в японском вооружении. Он оказался в низком полутемном отсеке, покрытом линолеумом. Здесь горевали пленные офицеры с кораблей Рождественского и Небогатова, еще не вышедшие из транса после событий 14 и 15 мая... А в углу каюты плоско вытянулся мертвец, закинутый желтым одеялом. Сидевшие потеснились, освобождая место для Коковцева, и он сел, представившись офицерам. «Что им сказать?»

– Я ничего не понимаю, – сказал он. – Мы ведь в этом деле не были дурачками. Слава богу, честно трудились на благо флота. Не спали ночей на мостиках, отстреливались на полигонах Транзунда и Бьёрке, мы тщательно изучали опыт чужих флотов, и вдруг... Кто виноват в том, что мы оказались поражены?

Только сейчас он все осознал и стал плакать.

Никто его не утешал, но вежливо спросили – что с ногою?

– Погано, – отвечал он, поглядывая на мертвеца под желтым одеялом. – При взрывах летит столько черной пыли, этот кошмарный дым из разбитых труб... все разжижается водой, и моя бедная нога двое суток подряд квасилась в этом грязно-соленом растворе... А сейчас даже не болит: отупело.

– Кого там били сейчас? – спросили его.

– «Дмитрия Донского». Затонул. Через кингстоны. Глубина здесь хорошая, сажень двести, так что японцы вряд ли станут возиться с подъемом этого старья. Мы, господа, у Дажелета...

Крейсер сильно качало. Коковцев ощущал приторный запах гниющего тела – мертвец все время привлекал его внимание.

– Кто это с нами, господа?

– Он тут лежал, когда вас сюда посадили...

Владимир Васильевич отдернул край одеяла. Это был капитан второго ранга с оторванной нижней челюстью, а из верхней блеснули коронки золотых зубов.

Коковцев снова закинул его.

- Где-то встречались. А где – не могу вспомнить...

Лязгнула дверь. Два японских матроса со штыками у поясов без слов подхватили Коковцева с таким палаческим видом, будто его пора тащить на плаху, и действительно, потащили на плаху операционного стола. Прямо над собой он увидел яркую лампу, лицо хирурга, который по-французски грубо сказал:

- Ладно. Ладно. Давай сюда ногу.

- А-а-а-а! – заорал Коковцев, выгибаясь от боли.

- Тихо. Я сделаю тебе только то, что надо...

Без хлороформа, под одним кокаином, хирург великолепно и быстро обработал ступню. Потом с похвальным проворством извлекал из тела осколки, о которых Коковцев даже не подозревал, страдая всем телом. Он считал их по стуку, с каким они падали в фаянсовую чашку, и был удивлен, досчитав до восемнадцати. Потом начал сильно волноваться:

- Где мой китель? Там в кармане бумажник.

- Не волнуйся. Китель в сушилке. Тебе дадут чистое белье. А что в бумажнике, Кокоцу-сан?

- Фотографии. Я столько времени провел в воде.

- Высушим и фотографии... Сакэ? – предложил врач.

- Нет уж! Лучше коньяк, – ответил Коковцев.

Хирург, рассмеявшись, шлепнул его по животу:

- Только для тебя. Я ведь учился в Париже и понимаю толк в коньяке... Скажи, марка «Maria Brizard» устроит?

Японские офицеры, прекрасно владея английским языком, выведывали у Коковцева результаты действия шимозы.

– Можете судить по мне, – отвечал Коковцев, а хирург, встряхнув чашкой, в которой дребезжали осколки, засмеялся.

При имени Лебедева японцы добавляли «доблестный»:

– Он храбро дрался, и мы испытываем уважение к его экипажу. Сейчас кончаем снимать его с Дажелета, утром пойдём в Сасебо, где размещены сразу два госпиталя для русских.

Коковцеву вернули бумажник с фотографиями. Выдали на руки обычный ассортимент пленного офицера – десять папирос, бутылку вина, игральные карты, пачку печенья, пучок редиски. В карман кителя деликатно опустили пакетик туалетного пипифакса. В плоских иллюминаторах розовой чертой обозначился рассвет. Японские офицеры в один голос поздравили Коковцева...

– С чем? – удивился он.

– Ваш император уже прислал телеграмму адмиралу Рожественскому, благодаря его за пролитие крови... Какая честь!

Они были ошарашены, что на Коковцева это известие не произвело никакого впечатления. Офицеры, очень любезные, листали перед ним таблицы с силуэтами кораблей русского флота, некоторые из них были ими уже вычеркнуты.

– А вот и ваш «Бедовый»! – похвастались они.

Покидая операционную, Владимир Васильевич пожаловался, что мертвое тело начинает издавать скверный запах и не мешало бы его спровадить за борт. Однако японцы покойника в чине кавторанга хранили для погребения на кладбище в Иносе (в Нагасаки). Матросы посыпали его каким-то зеленым порошком, после чего запах тления моментально исчез. Утром крейсера адмирала Уриу отошли от Дажелета. Один пленный офицер вспоминал: «Кормили нас так, как мы отнюдь не ели на своем корабле. Японцы для нас

готовили европейский стол... приглашали в кают-компанию на завтраки, подавали шампанское». Коковцев, однажды ужиная подле командира крейсера, спросил его:

- Если не секрет, где сейчас Рожественский?

- Он уже в Сасебо на лечении.

- А контр-адмирал Небогатов?

- Он... в Киото. Они не встречались.

Ночью японские крейсера, переполненные пленными, проходили место сражения у Цусимы: громадное пространство было перенасыщено плавающими мертвецами, которых держали на воде пробковые пояса и койки; победители шли напрямик, не сворачивая с курса на Сасебо, и форштевни крейсеров раздвигали по бортам жуткое скопище людей, еще вчера живших, еще вчера надеявшихся, а теперь они пропадали за кормой, и винты крейсеров, бешено молотя воду, заставляли трупы вращаться, ставя их кверху ногами, опрокидывая без жалости, топя в глубине и отбрасывая в сторону, будто ненужный хлам... Предстоял день позора – день прибытия в Сасебо!

...

Очевидно, я поступлю справедливо, если сразу же подведу итоги Цусимы, людские и материальные. Русскую эскадру вели и обслуживали в бою 14 313 матросов, из числа коих 4937 человек не вернулись домой. Кроме рядовых океан поглотил 166 офицеров и 79 кондукторов-сверхсрочников. Сдались в плен 4 броненосца с адмиралом Небогатовым и миноносец «Бедовый» с адмиралом Рожественским, да еще незаконно были захвачены японцами два госпитальных судна – вот, пожалуй, и все трофеи Того! Без вести пропал один миноносец – «Безупречный»; но многие корабли эскадры уцелели, будучи интернированы в иностранных портах – в Чифу, Гонконге, Кью-Чжао, Шанхае, Сайгоне, на Филиппинах и даже в Сан-Франциско у американцев. Владивостока, столь желанного, достигли три корабля: слабейший из крейсеров «Алмаз»[1 - Не

упоминается доблестный крейсер «Изумруд», так как он, достигнув бухты Св. Владимира, нечаянно выскочил на банку и был взорван. Экипаж крейсера пешком через тайгу прибыл во Владивосток.], миноносцы «Бравый» и «Грозный», а военный транспорт «Анадырь» совершил вообще чудо из чудес – он вернулся в Россию...

Англия ликовала больше Японии: война, которую она вела с Россией чужими руками, была блистательно выиграна. Не меньшее ликование царило и в самой Японии, но не столько от побед на суше, сколько именно после Цусимы! Престиж России на Дальнем Востоке, и военный и политический, был надолго поколеблен, а Япония сразу вышла в число великих морских держав. Из Токио поступали сообщения: «После Порт-Артура, Ляояна и Мукдена ликовала одна японская пресса, а народ Японии, отягощенный нуждой и поборами, оставался безучастным; теперь ликуют все города и деревни... известный философ Тепуцджиро Инупе составил семь причин величия Японии, превосходящей все народы мира!» Дух самурайства уже насквозь пронизывал поры сложного (и не всегда понятного европейцам) организма императорской Японии. Не будем удивляться, что при этом отношение простых японцев к русским пленным было не только вежливое, но даже почтительное. «На всех станциях собиралось много народа, отношение публики к нам чудесное: японки разносят по вагонам чай, радушно им угощая, а когда поезд трогается, женщины отвешивают всем нам низкие поклоны».

В ресторанах японские певицы давали русские концерты, безбожно коверкая наш язык: «Я на горку шра, уморирася...» В эти дни после Цусимы даже трамваи в Японии были обильно украшены цветами и яркими плакатами с иероглифами победы, толпы людей, зажигая фонарики, заполняли вечерние улицы городов, в исступлении выкрикивая по команде самураев: «Хэйка банзай!.. Хэйка банзай!..» Хэйхатиро Того стал национальным героем! В госпитале Сасебо японский адмирал встретился с адмиралом Рожественским, перенесшим тяжелую операцию на черепе; сейчас он чувствовал себя намного лучше, хотя и принял победителя еще в постели, но уже с папиросой в руке.

– Я не рассчитывал встретить вас в Японии, – начал Того после слов соболезнования. – Когда из газет стало известно, что вы собираетесь в путь, я счел это блефом. Беспокойство зародилось во мне после вашего отплытия из Носси-Бэ, и тут я понял, что вы исполнены серьезных намерений... Не моя вина в победе над вами – так было угодно богам! Извините.

– Где вы ждали меня? – спросил Рожественский.

– У берегов Кореи – в гавани Мозампо... Мне пришлось поломать голову! – сознался Того. – Когда вы направились в обход восточнее Формозы, я пребывал в растерянности. Ибо этот маневр заставил меня предполагать, что вы изберете любой путь, только не мимо Цусимы, не Корейским проливом.

В этом случае я должен был бы искать вашу эскадру в открытом океане возле «воронок» – Сангарской или Лаперузовой. Не так ли, коллега?

– Когда же вы уверились, что я направляюсь к Цусиме?

– Двенадцатого мая. В этот день вы имели неосторожность отпустить в Шанхай свои транспорта. В этот день я выпил на радостях очень много сакэ – я понял, что битва разгорится возле Цусимы... Меня это вполне устраивало!

– Это моя ошибка, – задумался Зиновий Петрович.

– И я вам глубоко сочувствую, – отвечал Того.

Рожественский тронул забинтованную голову. Он сознался, что делал попытку обмануть Того, когда арестовал норвежский пароход с грузами для Японии и сознательно отпустил его, сказав капитану, что скоро будет у Цусимы в Корейском проливе:

– Я рассчитывал: вы не поверите, что я способен выдать свои планы постороннему человеку, и на этом основании, подозревая обман, отведете свои силы от Цусимы для поисков моей эскадры в ином месте... Но, получилось, я сам разоблачил себя, отпустив транспорта в Шанхай, вы правы!

Естественно, в беседе нельзя было миновать и вопроса о сдаче кораблей Небогатовым, которого Хэйхатиго Того оправдывал (как оправдывали его тогда все японцы):

– Наши офицеры считают, что им необходимо погибать заодно с кораблями, и за это вы, европейцы, подвергаете нас, японцев, суровой критике, как варваров. Но здесь вы смешали два понятия. Небогатов, окруженный мною с тридцати двух

румбов, поступил именно по европейским канонам: он пожертвовал кораблями, желая сохранить жизни экипажам своей эскадры. Не можете же вы, европейцы, требовать от европейца Небогатова, чтобы он сделал себе харакири! Мы, японцы, смотрим на сдачу Небогатова вашими же глазами, не стараясь применять к его осуждению наш моральный кодекс «бусидо».

– Скажите, адмирал, – спросил Рожественский, – если бы на месте Небогатова оказался японец, сдался бы он?

И вот тут адмирал Того скрыл презрительную усмешку.

– Нет! – отвечал он. – Когда ваши войска взяли у наших Путиловскую сопку, командир, ее защищавший, жестоко израненный, ночью приполз до своего штаба, и тут офицеры живым зарыли его в землю, как недостойного жизни и службы под знаменами нашего микадо... Так повелевает кодекс «бусидо»!

Из палаты госпиталя Сасебо Рожественский телеграфировал Николаю II краткий отчет о случившемся при Цусиме. Император отвечал незамедлительно: «От души благодарю Вас и всех тех чинов эскадры, которые честно исполнили свой долг в бою, за самоотверженную их службу России и Мне. Волею Всевышнего не суждено было увенчать ваш подвиг успехом... Желаю вам скорого выздоровления, и да утешит вас всех Господь!»

Крейсера вице-адмирала Уриу, жалобно подвывая сиренами, вошли в Сасебо, где стояли, невредимые, но очень запущенные, корабли небогатовской эскадры. Лишь у «Николая I» виднелась пробоина ниже мостика. Над русскими броненосцами реяли флаги Страны восходящего солнца. Японцы перегружали пленных на пассажирские пароходы, чтобы развезти их по лагерям. Ни у кого не было никаких вещей, и пленные матросы застыли в молчании, почти похоронном, когда на причалах показалась длинная вереница людей, тащивших на своих загривках чемоданы и сундуки с родимым барахлом. Это шли команды со сдавшихся броненосцев Небогатова. Страшное молчание прорвалось в воплях:

– Шкурники! Куркули собачьи! За барахло продались!

В них плевались, им грозили кулачной расправой, но матросы Небогатова, понуриив головы, не отвечали. Лишь один крикнул:

– Что вы нас-то лааете? Не мы сдавались – нас сдали...

Коковцева удивило, что его сразу отделили от штаба Рожественского, изолировав в отдельной палате госпиталя; вместо санитаров к нему приставили двух дюжих самураев со штыками, которые, казалось, только и ждут, чтобы выпустить из Коковцева все кишки. Наконец, пленные офицеры имели право дать через французское посольство телеграммы в Россию, чтобы родные о них не тревожились: жив, здоров, в плену. От Коковцева такой телеграммы японцы не приняли, а когда он стал выражать возмущение, ему было заявлено:

– Мы бы приняли телеграмму от Кокоцу-сан, если бы он оказался среди наших пленных. Но Кокоцу-сан в числе наших пленных не числится, и нам очень бы хотелось теперь узнать, кто вы такой и что вам в Японии нужно?

...

Его допрашивал капитан-лейтенант Такасума, владеющий русским языком в той же степени, в какой Владимир Васильевич владел языком японским. Такасума был неприятен Коковцеву: квадратное лицо, жесткая щетка усов, резкий командный голос, негибкий склад ума. Русские офицеры во время войны с Японией сняли со своих мундиров все японские ордена, но Такасума продолжал таскать на груди Анну с мечами, полученную им за разгром китайских «боксеров» при штурме фортов Таку.

– Если вы Коковцев, – утверждал Такасума, – то почему оказались на эскадре Рожественского, а не там, где вы должны быть и где мы вас, к сожалению, не обнаружили.

– К чему загадки? – возражал Коковцев, начиная выходить из себя. – Я еще раз повторяю, что в должности флаг-капитана состоял при штабе вице-адмирала Рожественского...

Однажды его выслушивал целый синклит военных японцев.

– Опять вы говорите неправду, – не верили они Коковцеву. – Если вы состояли при Рождественском, то почему же вас не взяли в плен на миноносце «Бедовом» с Клапье де Колонгом?

Скоро вместо супа ему стали давать подсоленную воду, в которой плавали лепестки зеленого лука, а кусочек мяса уменьшился до размеров мизинца. Наконец, подушку заменили валиком макуры, набитым жестким морским песком (почти галькой). Счастье, что врач Осо-сан, лечивший Коковцева, оказался золотым человеком, он подкармливал своего пациента молоком и хлебом, иногда угощал и пивом, которое продавалось пленным тут же – в буфете сасебоского морского госпиталя.

– Я не знаю, кто вы, Кокоцу-сан, – говорил Осо, посверкивая цейсовскими линзами очков. – Для меня вы прежде всего больной, и я обязан вылечить вас... О, русские люди крепкие! Вы поглощаете с пищей очень много белков, чего не хватает нам, японцам, от этого и раны у нас залечиваются труднее...

Осо-сан кромсал русских скальпелем без пощады, словно мясник, но еще не было случая, чтобы не спас человека. Он искренно горевал, когда в муках скончался один лейтенант, обожженный при взрыве. Осо жаловался Коковцеву, что среди башенных офицеров многие ранены в глаза, и ему приходится оставлять юных мичманов безглазыми инвалидами... Между тем Коковцева продолжали мытарить идиотскими допросами, и, наконец, капитан первого ранга не выдержал:

– Впредь я отказываюсь отвечать вам, а буду разговаривать только с Хиросо, что был военно-морским атташе в Петербурге. Вы удивлены? Но я был приятелем этого человека. Я даже показывал ему на Транзунде наши торпедные стрельбы...

Это сообщение привело японцев в замешательство. При имени Хиросо они разом поднялись, кланяясь портрету императора, а Такасума, став лебезяще-угодливым, показал Коковцеву литографию в форме народного лубка. На картинке, довольно-таки аляповатой, Хиросо, размахивая саблей, спасал из пламени взрывов японских матросов. Такасума с почтением объяснил, что Коковцев имел честь общаться с героем японского народа. Оказывается, именно Хиросо возглавил отчаянную атаку брандеров, чтобы запечатать 1-ю Тихоокеанскую эскадру в бассейне Порт-Артура, и он погиб смертью отважной, но абсолютно бесполезной, ибо адмирал Макаров разбил его брандеры...

– Я сожалею о кончине Хиросо, – сказал Коковцев.

Отношение к нему резко переменилось.

– Кого еще из японцев вы знали в Петербурге?

– О-Мунэ-сан... Понятия не имею, где сейчас эта женщина, но я сохранил о ней самую приятную память.

В этот день у него разболелись раны, он с раздражением слушал, как в палате за стенкой беседуют офицеры двух эскадр, взятые в плен японцами в Порт-Артуре и при Цусиме.

– Не забыть мне одного матроса, – рассказывал кто-то. – Ему оторвало руку, но он отнесся к этой потере, словно ящерица, способная восстановить конечность. Такого хладнокровия, господи, я никогда не видывал. Он протянул мне оторванную руку со смехом: «Во! Куды прикажете девать, вашбродь?»

Я ему говорю: «Дурак! Кидай за борт». Он мне встретился уже здесь, в Сасебо. Опять хохочет: «Вашбродь, а лапу-то мою помните? Так я похоронил ее с ногой своего адмирала...» Это была нога адмирала Витгефта!

– Матросам еще можно смеяться, – звучал за стенкою иной голос. – А вот с нас, офицеров, будет взыскано полной мерой. Россия никогда не простит нам цусимского позора!

– О каком позоре толкуете, мичман? Разве мы не сражались и не умирали, как повелевает нам долг? Разве кто дрогнул в бою? Да вспомните хотя бы «Осляблю»... Э-э, да что там! Но в одном вы правы: *vae victis* – горе побежденным!

Коковцева раздражали эти бесполезные споры: после драки кулаками не машут, – и он попросил сделать ему укол морфия. Сон был глубокий, но тяжелый. Когда же проснулся, возле стояли в вазе дивные японские ирисы.

– Кто принес их мне? – удивился каперанг.

Осо пояснил, что, пока он спал, его навещала О-Мунэ-сан, подтвердившая Такасуме, что он – Коковцев.

– Однако, – сомневались еще самураи, – если вы и Коковцев, то как же оказались на эскадре Рождественского? Мы долго искали вас в Порт-Артуре и не нашли ни среди убитых, ни среди плененных. Это нас чрезвычайно озадачило, а вы не станете отрицать, что отъехали в Порт-Артур из Петербурга в одном вагоне с покойными доблестным адмиралом Макаровым...

Только теперь Коковцев все понял! Когда Степан Осипович отбывал на Дальний Восток, на перроне Николаевского вокзала столицы наверняка его провожали и японские шпионы. Они точно зафиксировали Коковцева в числе отъезжающих офицеров штаба. Но они прохлопали, что он покинул адмирала в Москве, и теперь настырно искали того Коковцева, который для них пропал. Всю эту ситуацию Владимир Васильевич растолковал французскому консулу, на свидании с которым он настоял, а потом долго наслаждался смущенным видом капитан-лейтенанта Такасумы.

Переведенный в общую палату, он начал поправляться, гулял с костылем в садике госпиталя, где кормил хлебом в пруду золотых рыбок и двух сонных черепах, приученных подплывать к мосткам, если громко хлопнуть в ладоши. По вечерам же тоскливо слушал японских лягушек, исполнявших такие же свадебные концерты, что и лягушки парголовские. Думалось: «Как-то там Ольга? Наверное, уже на даче... Хорошо ли ведут себя Никита с Игорем?» Но среди этих житейских вопросов был мучителен главный: «Что я скажу Ольге о нашем Гоге?..»

В конце мая президент США Рузвельт, обеспокоенный усилением военной мощи Японии, предложил свое посредничество к миру. Пленные офицеры ждали мира, но и боялись его.

– Осточертело тут хуже горькой редьки, – делились они между собой, расхаживая в белых кимоно по вечерним коридорам притихшего госпиталя. – Но, вернись в Россию, и любая тварь станет в глаза плевать... за Цусиму!

Здесь, в Сасебо, Коковцев случайно повстречал Евгения Криницкого, плененного в Порт-Артуре, где он командовал миноносцем «Сильный», который сам же и взорвал накануне падения крепости, чтобы он не достался врагу. Речь зашла о

второй атаке японских брандеров, которой руководил Хиросо.

– Я и угробил его! – сказал Криницкий с улыбкой. – Как Соловей-разбойник – свистом... Макаров выслал нас в море на перехват брандеров. Я удачно залепил одному в борт мину – только брызги полетели! Затем черт меня дернул дать один длинный свисток. А по Международному своду это означает «Прошу повернуть влево». На японцев или дурь нашла, или они между собой раньше договорились о свистках – не знаю. Только гляжу, Хиросо развернулся влево. А за ним и другие брандеры повыскакивали на камни и там стали взрываться... Вот и вся история.

– Но для меня странная, – призадумался Коковцев.

Ему невольно вспомнился поход к Транзунду и свисток, висевший у него на шее, которым он пользовался в присутствии Хиросо. Бывают в жизни загадочные ситуации...

...

Я боюсь, как бы у читателя не возникло неверное представление о пребывании в японском плену, как о хорошо налаженном отдыхе, вполне заслуженном после похода и боя эскадры.

С офицерами флота все ясно! Японцы дали им волю вольную, лишь не позволяли иметь тросточки толще мизинца, которые и отбирали без разговоров, как опасное оружие. Нужды офицеры не испытывали – японцы выплачивали деньги аккуратнее, нежели русская казна. Можешь гулять, где хочешь, но сидеть в ресторане более трех часов запрещалось. Если кто задерживался, полицейский страж, переодетый в кимоно, вежливо напоминал об истекшем времени. В таких случаях русские не спорили и, выкурив на улице папиросу, возвращались обратно в ресторан – еще на три часа... К пленным матросам отношение японцев было иное. Одеты кто во что горазд, а иногда полуголые (при спасении в море, как известно, о фраках не думают), русские матросы терпели отчаянную нужду. Их держали на отшибе страны, на пустых и одичалых островах, в кое-как сколоченных бараках, кормили впроголодь. И там, в лагерях Синосима, где в горах выла по ночам собака, брошенная Стесселями, матросы постоянно

бунтовали, а дрались с охраной столь озверело, что огнестрельное оружие не раз переходило из рук в руки...

Совсем уж негодно и даже отвратительно относились японцы к пленным Маньчжурской армии: их подвергали издевательствам, отнимали часы и бинокли, с пальцев офицеров срывали обручальные кольца. Среди японцев иногда встречались настоящие изверги, особенно из числа тех, кто получил на время войны чины прапорщиков – за знание русского языка, который они освоили, стирая белье в Хабаровске или торгуя редиской на базаре Владивостока. Одному такому мерзавцу было достойно сказано: «Ты не сын Восходящего солнца – ты просто сукин сын!» Впрочем, можно было жаловаться – сколько хочешь и кому хочешь, пиши хоть самому микадо. А если пожаловался, японцы никогда не спорили, неугодного для русских человека тут же заменяли другим, более покладистым...

И все это время Коковцев не прекращал поиски своего сына. Подробно расспрашивал пленных о судьбе спасенных с «Осляби». В госпитале Сасебо лежал тяжело раненный мичман с «Осляби», князь Сергей Горчаков; он и рассказал Коковцеву, что в первой башне пневматика продувания отказала сразу, потом сплеховала гидравлика и башню проворачивали вручную, но где был Гога в момент гибели броненосца – он этого не знает. Газеты в России изо дня в день публиковали списки увечных, убиенных, умерших в плену и пропавших бесследно. «А что, если имя мичмана Г. В. Коковцева уже значится среди погибших? Кто же даст Ольге сил – пережить этот удар?..» Он еще не терял надежды, что Гога остался жив. А если он жив, то... где же он? Искал одного сына, но случайно нашел другого. Капитан-лейтенант Такасума залучил его в офицерский буфет, где они стали пить пиво. Неожиданно японец признался:

– Русским очень повезло в этой войне. Не скрою, что Японии сейчас важно предстать в свете великой и победоносной державой, склонной к соблюдению норм международного права, выработанного вами, европейцами. В дальнейшем мы не собираемся относиться к своим пленным столь же хорошо, как сейчас относимся к вам. – Безо всякого перехода он завел речь об Окини-сан. – Ведь у вас был и сын – Кокоцу Иитиро? Не удивляйтесь, что так исказили вашу фамилию, если даже сын польского революционера Куровского стал у нас знаменитым маршалом Куроки...

Далее самурай сказал, что Иитиро, будучи артиллерийским констапелем на славном крейсере «Идзумо», отлично сражался во славу микадо и погиб в битве при Цусиме.

- Вы сказали - на крейсере «Идзумо»?

- Да. Этот крейсер вынес из боя немалые жертвы...

Владимира Васильевича пошатнуло. Как объяснить, что «Идзумо» именно от «Осляби» и получил несколько отличных попаданий? Неужели Иитиро убил Георгия, а Георгий убил Иитиро? Помедлив, Коковцев ответил Такасуме, что Окини-сан, наверное, сейчас очень тяжело, и он хотел бы известить ее о себе.

Что-то человеческое проступило в жестком лице самурая.

- Вы этого хотите? - спросил Такасума.

- Ради нее... Надеюсь, это не затруднит вас?

- Нисколько! Я это сделаю, Кокоцу-сан, уважая в вашем лице кавалера нашего ордена Священного сокровища... О, не торопитесь расплачиваться за это пиво.

Я охотно сделаю это за вас. Спокойной ночи, Кокоцу-сан!

Коковцев пожелал самураю того же:

- Домо аригато! О'ясуми насай...

Ночью пришлось многое передумать. При свете луны он раскладывал фотографии Ольги и своих детей, но в дальний путь до Цусимы он не взял портрета Окини-сан, а Иитиро никогда не видел. В эту ночь, наполненную повизгиванием цикад, Коковцев вдруг явственно представил себе, что его сын не покинул башни броненосца... Нет, он так и остался в ней.

Скорее всего так и было: ПОГИБАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ.

– Я ведь сам воспитал его на примере Дюпти-Туара...

О том, как погиб Иитиро, он в эту ночь не думал!

Утром в Сасебо стало известно, что Рождественский, очевидно, выезжает в Киото – ради свидания с Небогатовым.

– Зачем ему это? – удивился Коковцев. – Японцы правильно делают, не желая держать двух пауков в одной банке...

Пленные знали, что Того нанес визит и Небогатову, который, будучи глупее Рождественского, непомерно расхваливал достижения японской науки и техники, а Того, будучи умнее Небогатова, цокал языком, деликатно возражая ему: «Да что вы говорите? Не может быть! Я не заметил превосходства своего флота перед вашим флотом...» Из американского города Портсмута, где Витте уже встретился с японским министром Комурой, доходили невероятные слухи, будто Япония претендует на половину Сибири с Камчаткой и Сахалином в придачу. Не слишком-то доверяя газетам английским (и сразу отбрасывая русские), Коковцев прочитывал газеты японские. Их издатели представляли дело так, будто Россия, полностью разгромленная, давно валяется в ногах священного микадо, слезно взывая к нему о милосердии... Но однажды Коковцев выудил из прессы сообщение, что в России молодыми офицерами создана «Лига обновления флота».

– Господа, – сказал он, – это любопытная новость. Мы сидим тут, а в России народ собирает пятаки на новые корабли.

Его спросили: а кто в этой «Лиге» верховодит?

– В числе основателей – лейтенант Колчак.

– Это какой же Колчак? Не тот ли, что в Порт-Артуре командовал «Сердитым», а потом вернулся домой через Америку?..

Японцы, не желая держать на хлебников, многих офицеров Порт-Артурской эскадры давно отправили на родину. Они умышленно не держали врачей, интендантов, священников, отпускали в Россию и тех раненых, которые

докучали им заботами. Пленные евреи сразу просили о подданстве США, многие католики тоже не пожелали возвращаться из плена... Русские? Некоторые из русских решили остаться в Японии, особенно те, кого дома ожидала тюрьма или житейские невзгоды. Не все нравилось русским в Японии, а многое попросту обескураживало. Коковцев однажды слышал на улице, как пожилой армейский капитан огорченно признался прапорщику:

– Где уж нам воевать с япошками, ежели у них на каждой улице – школа, а прививки от оспы и умение плавать для всех обязательны. Гляди, у них и дети-то соплями не шмыгают!

Это верно: сопливых не было. Но Коковцев, в отличие от этого армейца, мог уже сравнивать две Японии, прежнюю с настоящей, и он заметил большие перемены: девочки в матросках маршировали, мальчики обучались приемам штыкового боя. Разве это не дико? Да и что хорошего, если паршивый фельдфебель идет по улице и вся улица начинает ему кланяться?..

В конце августа Владимир Васильевич решил съездить в Киото; на вокзале к нему подошел глупый немолодой матрос с «Адмирала Нахимова», лежавшего у Цусимы на глубине в сорок сажен.

– Извиняйте на просьбе, вашскородь. А вот со сбер-книжками-то как быть? – Речь шла о деньгах, вложенных на хранение в сберкассу погибшего крейсера. – Кады эта пальба была, о деньгах не соображал. А тут мир... ведь я не украл! Скопил. По копеечке. Бывало, и чарочки не выпьешь.

Коковцеву стало жаль матроса. Он сказал:

– Но ведь еще перед боем всюду вывесили объявления, чтобы вкладчики забрали свои деньги обратно.

– Так это для умных. А я, дурак такой, понадеялся, что, в сберкассе-то оно верней будет, нежели в кармане таскать...

– Ну вот, – развел руками Коковцев. – Теперь плыви до Цусимы и ныряй глубже... может, и достанешь свои рубли. А я слышал, что вы там, в лагерях своих, бунтуете?

– Взбунтуешься, вашскородь, ежели давеча киску с горчицей умяли за здорово живешь. Мне от нее полхвоста да уши остались. Што нам эта трава японская? Опять же, войдите в наше положение, от риску сыт не станешь – нам бы хлебца!

– Куда ж, братец, ты сейчас едешь?

– До Киоты... жаловаться. Чтобы деньги вернули.

– На кого ж ты собираешься жаловаться? Уж не на адмирала ли Того, который твои рубли на дно отправил?

– А мне все равно на кого... Сколь лет складывал. Все копил. Надеялся. Думал, вот возвратись в деревню и всем чертям тошно станет! И часики обрести было желательно...

Напоминание о часах было кстати:

– А тебе Павел Бирюков с «Донского» не попадался?

– Так он уже тягу дал... с пальцем.

– С каким еще пальцем?

– А так. Начал драку с конвоиром японским. Чтобы тот к нему в окошко не смотрел. Японец-то неопытный, возьми и сунь в рот ему палец. Пашка хрясь яво – и откусил!

А палец-то непростой! Указательный. С правой руки. Таким пальцем стреляют. Ну, суд. Оно конечно. Не без этого. Вить Пашка-то из самурая инвалида сделал. Вот и бежал. Потому как не дуралей, Пашка-то Бирюков... в тюрьме кому охота сидеть?

– Как же бежал? Не зная японского языка?

– А ему на все языки плевать. Сел на французский пароход и поплыл. Уже письмо в Синосима прислал. Из Кронштадту. В тюрьме сидит... Такой уж человек: как

приехал, так сразу в революцию пошел и очень, пишет, ему понравилось.

- Пошел вон... пентюх! - ответил ему Коковцев.

Он приехал в Киото, в саду храма «Миокоин», который был отведен для размещения небогатовского штаба, Владимир Васильевич встретил контр-адмирала, заочно преданного суду на родине. Николай Иванович Небогатов ему сказал:

- Я имел неосторожность, по примеру Рожественского, послать царю телеграмму о сдаче эскадры. Но его величество даже не удостоил меня ответом, и теперь ясно, кто будет виноват... Неужели я думал о себе, сдавая корабли? В конце-то уж мне-то спасательный круг всегда дали. И хотел бы утопиться, меня первого за волосы бы вытащили. Ценою своего позора я сознательно купил у противника тысячи русских жизней, которые, хочется верить, еще сгодятся отечеству для лучшей жизни...

К сожалению, Коковцеву не удалось в Киото отыскать никаких сведений о спасенных с «Осляби»; Небогатов посоветовал флаг-капитану ехать в Токио, где епископ Николай, глава православной церкви в Японии, собрал очень большие материалы о судьбах всех спасенных с эскадры. На вокзале снова пришлось встретить этого немудреного матроса с «Адмирала Нахимова».

- Ну, как? Выяснил вопрос о сберкнижке?

- Говорят - пиши пропало. Но я этого безобразия так не оставлю. Тока бы домой выбраться, уж я нажалуюсь кому следоваит. Свое-то кровное - из глотки вырву!

- Много ли, братец, накоплено у тебя было?

- Куча! Трех рублей до сотни не дотянул. А теперича вот и на билет нету, чтобы до Синосима отселе выбраться.

Коковцев купил ему билет до лагеря в Синосима.

- Держи! У тебя вот сотенная бумажка на крейсере размокла, а у меня, братец, сын погиб на «Ослябе».

– Тады я заткнуся, – сказал матрос, и они поехали...

Каждому свое! Япония была прекрасна, и на ее болотах, среди священных лотосов, бродили белые птицы-ибисы, очень доверчивые к людям, которые никогда их не обижали... Отвернувшись к окну, Владимир Васильевич тихо глотал слезы.

...

Японские водолазы, лучшие водолазы мира, поднимали погибшие русские броненосцы и крейсера, их отводили для ремонта в доки Майдзуру, переименовая: «Пересвет» в «Сагами», «Полтаву» в «Танго», героический «Варяг» стал у японцев «Сойя», а небогатовский флагман «Николай I» – «Ики». Все это было весьма унижительно для русской чести, но что заслужил, то и получай... Красную полосу милосердия вдоль борта госпитальной «Костромы» японцы перекрасили в зеленый цвет...

– «Кострома», – пояснил Такасума, – оборудована под госпиталь не частными лицами, как «Орел», а на средства государства и потому обязана нести зеленую полосу.

– Вы не имели права их арестовывать, – сказал Коковцев.

– Если бы вы не держали на них пленных англичан с парохода «Ольдгамия», который плыл к нам с грузом керосина.

– Да какой там керосин! – обозлился Коковцев...

1 октября 1905 года до русских в Японии дошло известие, что мир в Портсмуте подписан, но обмен пленными состоится после ратификации договора. Из своих обширных владений Россия потеряла лишь южную часть Сахалина, отдав Японии и двести миллионов рублей за содержание пленных. Все понимали, что такова цена замаскированной контрибуции, ибо даже простейший подсчет наглядно показывал нереальность оплаты.

– Если бы каждому из нас, – рассуждали в лагерях, – такие деньги да на руки, так на них можно было бы трамвай купить или пять лет по ресторанам пить без просыпу. А мы тут за каждой рисинкой гонялись, пучку редиски радовались...

Портсмутский мир едва не вызвал всеобщего народного восстания, а барону Комуре грозили смертью, его дом в Токио был сожжен. Япония давно истощала себя войною, цены на продукты питания возросли втрое, народ бедствовал, а перспективы на урожай риса в этом году были плачевны. Всюду возникали грандиозные митинги, требующие отказа от мира, который-де «оскорбляет» честь нации, не давая стране никаких выгод; горели полицейские участки, в пролетарских кварталах столицы рабочие дрались с войсками, на улицах лежали трупы убитых.

В эти дни пленным запретили появляться на улицах.

– Чем все это вызвано? – недоумевали офицеры.

Коковцев, читавший японские газеты, понимал причины этого «э дзянай ка», выраженного в озверелой ярости народной стихии. Самурайская пресса, раздувая любой успех военщины в небывалые триумфы, всю войну обманывала народ, внушая японцам, что каждая семья, давшая солдата армии или матроса флоту, после победы над Россией получит от контрибуций столько денег, что будет обеспечена до конца жизни. Теперь, прослышав о мире, крестьяне бросали рисовые поля, толпами двигались в большие города, где настойчиво требовали от чиновников Муцухито обещанных «русских» денег...

Кормить пленных после заключения мира японцы стали омерзительно и так скудно, что все испытывали голод. Даже офицеры! А что же сказать о нижних чинах, которым отводилось по двадцать три копейки в день, исходя из русского жалованья, тогда как фунт тощего мяса стоил в Японии сорок пять копеек...
Голодуха!

– И за это дерьмо давать им еще двести миллионов?

Красный Крест пересылал пленным: офицерам – египетские папиросы и французское шампанское, солдатам и матросам – сухари и махорку в неограниченном количестве да еще всякие книжечки вроде такой – «Что нужно знать воину-христианину?». Но бурные всплески русской революции

докатывались и сюда, в лагеря и бараки рядовых пленных, которые рвались на родину, чтобы не опоздать к переделу старого мира...

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Не упоминается доблестный крейсер «Изумруд», так как он, достигнув бухты Св. Владимира, нечаянно выскочил на банку и был взорван. Экипаж крейсера пешком через тайгу прибыл во Владивосток.

Купить: https://tellnovel.me/pikul_valentin/tri-vozrasta-okini-san-tom-2

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)